

Санд Ж.



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ:

**НАНОН
МЕТЕЛЛА
ОРКО**

Собрание сочинений

Жорж Санд

Нанон. Метелла. Орко (сборник)

«Алгоритм»

1872, 1834, 1837

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Нанон. Метелла. Орко (сборник) / Ж. Санд — «Алгоритм»,
1872, 1834, 1837 — (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-03040-6

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. «Нанон» можно назвать одним из наиболее исторических романов Жорж Санд, он целиком связан с эпохой Великой французской революции. Но история – это не самоцель для писательницы, она нужна ей, чтобы осмыслить современность на основе противоречий и столкновений трех сословий Франции того времени: духовенства, дворянства и буржуазии. На примере взаимоотношений одной из главных героинь романа, простой крестьянки Нанон и ее будущего мужа, дворянина Эмильена де Франквиля, Жорж Санд показывает, что любовь и брак – вот путь к преодолению сословных различий, потому что они не препятствуют союзу сердец, в котором проявляются равноправие и единство человечества. В том также входят два рассказа: «Метелла» и «Орко».

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03040-6

© Санд Ж., 1872, 1834, 1837

© Алгоритм, 1872, 1834, 1837

Содержание

Нанон	6
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Жорж Санд

Нанон. Метелла. Орко (сборник)

Нанон

{1}

^[1] Роман «Нанон» напечатан в 1872 году в «Ревю де дё монд». «Можно предположить, – пишет известный исследователь творчества Жорж Санд В. Каренин, – что схема романа задумана в 1868 году, когда создавался «Кадио». Однако окончательную форму он принял позднее, под влиянием франко-прусской войны» (W. I. Karanine. George Sand, sa vie et ses oeuvres. Vol. 4. Paris, 1926. P. 545.). Это предположение строится на том, что в обоих произведениях – «Нанон» и «Кадио» – отражена та же эпоха французской буржуазной революции конца XVIII века. Но если вспомнить, с какой быстротой обычно работала писательница, то утверждение это теряет свою убедительность. Возможно, что некоторые образы и были задуманы в конце 60-х годов, но сам роман создавался в конце 1871 – начале 1872 года, и толчком к работе над ним послужила не франко-прусская война, а Парижская коммуна. Франко-прусская война, хотя непосредственно не затронула провинциальный Ноан, отразилась на жизни его обитателей. Жорж Санд считала войну постыдной, оплакивала поражения французских войск, проклинала немцев и радостно приветствовала падение Империи и революцию 4 сентября 1870 года. «Бог покровительствует Франции, она вновь стала достойной его», – записала в дневнике Жорж Санд 5 сентября 1870 года. Революцию Парижской коммуны 1871 года она встретила враждебно и, подобно многим своим современникам, не поняла ее исторического значения. Однако в целом ее высказывания о Коммуне сдержаннее, чем у других, и, во всяком случае, она правильно оценила правительство Версаля как «реакционное до тупости». А позднее (7 июня 1871 года) в связи с продолжающимися расстрелами коммунаров высказала мысль о трусливости испуганных буржуа, которые, победив, «стремятся теперь убить всех». В то время когда монархическое большинство Национального собрания стремилось восстановить монархию, Жорж Санд считала абсолютную форму правления «бедствием». Однако ее прежний радикализм оказался притушенным с возрастом, а прежде всего событиями первой пролетарской революции в Париже. Жорж Санд ждала теперь спасения от умеренной республики, в которой, как предохранительный клапан против гражданской войны, сохранится всеобщее избирательное право. Не дух 1848 года, а буржуазная мудрость стабилизирующейся Третьей республики привлекает Жорж Санд, которая в 70-е годы оставила позиции, занимаемые ею в 1848 году, и сблизилась в своих политических воззрениях со сторонниками умеренной буржуазной республики. События 1870–1871 годов отразились на творческих планах писательницы. Возникла идея книги, связанной с революционными событиями прошлого, которое можно сопоставить с настоящим и противопоставить ему. К тематике, связанной с буржуазной революцией конца XVIII века, Жорж Санд обращалась не впервые. В «Мопра» читатель в конце романа встречается с революционными событиями 1789–1794 годов. В большей степени относится это к «Кадио». Однако «Нанон» – единственный роман, целиком связанный с эпохой этой великой буржуазной революции. Его можно назвать одним из наиболее исторических романов Жорж Санд. На страницах «Нанон», в ее важнейших персонажах воплощены интересы трех сословий дореволюционной Франции, столкнувшиеся в годы революции. Приор Фрюктьё представляет первое, духовное сословие, Эмильен де Франквиль – дворянство, а Костежу – буржуазную часть третьего сословия, большинство которого – крестьянство – персонифицировано в главной героине, Нанон. Конечно, никто из этих лиц не выражает и не может полностью выражать взгляды своего сословия, так сказать, в хрестоматийном виде. Дворянин Эмильен, например, приемлет революцию, как приняло ее на начальных этапах либеральное дворянство. Костежу в своем политическом развитии проходит ряд этапов, как прошли их различные группы буржуазии, последовательно становившиеся у власти во время революции, – от конституционализма к взглядам жирондистов, якобинцев, а затем к разочарованию в революции. Он «символическая фигура, воплощающая в себе всю гамму настроений, которая переживалась средними „патриотами“ французской революции со всей их неустойчивостью» (Н. Кареев. Французская революция в исторических романах. Пг., 1923. С. 27.). Для Жорж Санд история не самоцель, она скорее нужна ей для того, чтобы осмыслить современность. Она не стремилась к соблюдению хронологии событий. И все же роман передает дух эпохи и чувства, волновавшие тогда людей. Подобно Вольтеру, который, по известному выражению А. С. Пушкина, заставлял героев своих трагедий провозглашать принципы его философии, главные действующие лица «Нанон» высказывают взгляды Жорж Санд в том виде, в каком они сложились под влиянием франко-прусской войны и Парижской коммуны. Герои романа слышат о происходящих где-то далеко переменах, выступлениях, новых законах. Сведения эти медленно доходят до отдаленной провинции, но постепенно события властно вторгаются в их жизнь, и персонажи романа становятся, часто помимо собственной воли, участниками великой исторической драмы. Прямо или косвенно в романе нашли отражение почти все важнейшие события революции – и крестьянский вопрос, и война против феодальной Европы, и проблемы якобинской диктатуры, и многое другое. Пожалуй, все этапы разрешения аграрного вопроса, этой основной задачи революции, отразились в романе. Затронута и проблема формирования французской нации в процессе революционных потрясений. «Теперь для всех французов один закон... с этого времени у нас у всех одна родина», – говорит Эмильен. Однако ведущее место в романе занимают общие проблемы революции, и прежде всего те, которые связаны с якобинской диктатурой. Для основных действующих лиц характерна умеренность их политических взглядов. Даже вольтерьянское осуждение церкви приором Фрюктьё не делает его более радикальным. Он, как и другие, возвеличивает деятельность Учредительного собрания, противопоставляя его революционной коммуне 1792 года, ставшей решающей силой после свержения монархии. Они принимают конституцию 1791 года, превратившую Францию в ограниченную монархию, жирондистскую республику, и отрицательно относятся если не к якобинцам, то к их методам. Говоря, что якобинцы «катятся по наклонной плоскости», Фрюктьё подчер-

I

В нынешнем тысяча восемьсот пятидесятом году, уже вступив в преклонный возраст, принимаюсь я писать о днях моей юности.

кивает при этом внутреннюю честность якобинцев, их убежденность в правоте своих идей. Для них «революция дороже всего на свете, даже собственной совести», они действуют «во имя общего дела... на благо человечества». Эмильен де Франквиль также одновременно оправдывает якобинцев и осуждает их методы. Народ «в будущем проклянет наши имена! – восклицает Костежу. – Вот какая награда ожидает нас за то, что мы пытались создать общество, основанное на братском равенстве, и веру, осененную разумом». Речи, вложенные писательницей в уста своего героя в 1872 году, точно отразили взгляды французских либеральных литераторов. На протяжении многих лет эти взгляды почти не менялись, что можно обнаружить в ряде произведений, посвященных французской буржуазной революции. Так, герой романа Анатоля Франса «Боги жаждут» Эварист Гамлен, тоже готовый всем пожертвовать для счастья человечества, говорит ребенку, встреченному им в саду: «Я жесток, так как хочу, чтобы ты был счастлив. Я жесток, так как хочу, чтобы завтра все французы упали друг другу в объятия». Эта «безжалостная любовь» к людям, эта двойственность в оценке якобинцев сближает героев произведений Жорж Санд и Анатоля Франса, отделенных друг от друга сорокалетием. Слова Эмильена, приора, Костежу чрезвычайно точно передают настроение многих французских буржуа тех бурных месяцев. Они понимали, что только решительность, смелость, убежденность, беспощадность к врагам якобинцев, этих великих буржуазных революционеров, может спасти страну, а вместе с тем и завоевания революции, выгодные буржуазии. И буржуазное большинство Конвента – «болото» – вынужденно поддерживало якобинцев, хотя отрицательно относилось к их «крайностям», особенно к террору, этому «плебейскому методу расправы с врагами буржуазии». Жорж Санд выступает против якобинского террора, против насилия, в каком бы виде оно ни проявлялось, даже если оно продиктовано лучшими намерениями. По мнению Эмильена, террор бессмыслен и ни к чему не приведет, так как «зло рождает зло». Однако тот же Эмильен видит сложность положения якобинцев, противоречивость обстановки, когда «творить месть – значит чинить зло; покорствовать – значит мирволить ему». Устами своих героев писательница предлагает из этого, казалось, безвыходного положения выход, когда можно будет исправить людей, «не прибегая к наказанию», применяя оружие, «которое не наносит ран». Это «свобода высказываний, просветляющая умы, это сила убежденности, посрамляющая братоубийственные замыслы, это мудрость и справедливость, живущие в глубине человеческого сердца; разумное воспитание развивает эти качества, невежество и фанатизм их губят». Собственно говоря, Жорж Санд осталась сторонницей просветительских идей, верной доктрине, которую она называла «Евангелием от Жан-Жака», что вполне закономерно сочеталось с приверженностью к умеренной буржуазной республике. Встречается в романе и характерная для Жорж Санд проповедь уравнивания различных состояний. Дворянин Эмильен волею судьбы живет крестьянской жизнью и стремится ничем не отличаться от народа. Простая крестьянка Нанон, не теряя своей крестьянской сущности, в конце концов становится женой аристократа. Любовь, брак – вот путь к преодолению сословных различий, ибо эти чувства не препятствуют «союзу сердец, в котором проявляется равноправие и единство человечества» (Б. Реизов. Жорж Санд (1804–1876). – См. в кн.: Жорж Санд. Собрание сочинений в 9 томах. Т. 1. Л., 1971. С. 35.). Недавний сторонник террора Костежу мечтает о том, чтобы войти «в новый мир – мир, где третье сословие протягивает руку дворянству, мир всеобщего успокоения и внутри страны и вне ее». Жизнь, судьба женщины – ведущая тема в творчестве Жорж Санд. Если в ранних романах, выступая в защиту прав женщины, писательница не переступала за рамки чисто личных чувств своих героинь, то в дальнейшем деятельность женщины выходит за пределы одинокого бунта, произведения насыщаются социальной тематикой, героини включаются в водоворот исторических событий. Последнее относится к Нанон, которую обстоятельства вынудили близко соприкоснуться с политикой. Образ Нанон несколько идеализирован; она умна, сердечна, мужественна, способна быстро – даже слишком быстро – превратиться в образованную женщину. Жизнь Нанон – неустанный труд, она всегда работает, как, впрочем, все героини произведений Жорж Санд. Это своеобразная проекция трудолюбия самой писательницы. Избранник и будущий муж Нанон Эмильен де Франквиль также обладает многими достоинствами, но его добрые природные задатки развились под влиянием облагораживающей любви Нанон, ее преданности и верности. По собственному признанию Эмильена, он всем обязан Нанон. С самого раннего детства Нанон испытывает глубокое уважение к труду и к собственности. Получив овцу, девочка Нанон горда тем, что у нее теперь «было занятие, долг, собственность». Характерно преклонение Нанон перед этим важнейшим правом, декларированным буржуазной революцией. Г. Флобер неодобрительно отнесся к тем страницам книги, которые повествуют о коммерческих делах Нанон. «По-моему, – пишет он, – интерес немного ослабевает, когда Нанон задумывает разбогатеть. Она становится слишком сильной, слишком умной» (Г. Флобер. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1956. С. 392.). Однако эта часть романа свидетельствует о глубоком проникновении Жорж Санд в самую сущность буржуазной революции, приведшей к торжеству «священной и неприкосновенной» частной собственности. Способность Нанон к обогащению – буржуазная добродетель, которой не чужды были даже такие люди, как будущий великий социалист-утопист Сен-Симон, составивший, как известно, состояние земельными спекуляциями в годы революции. Напомним характерное замечание Эмильена: «Умеренность, физический труд и честность отнюдь не обеспечивают независимость, если нет сбережений, которые позволяют человеку размышлять, предаваться умственным занятиям и упражнять разум». Богатство стирает сословные перегородки. В то же время в романе отразились и руссоистские реминисценции Жорж Санд. Они, в частности, видны в словах крестьянина Пьера, заявлявшего, что земля должна быть у тех, кто ее обрабатывает. Вообще крестьянская основа остается неизменной в Нанон, которая, став образованной женщиной, многое испытав, фактически превратившись в буржуазку, осталась крестьянкой, гордой своим происхождением. Роман населен многими людьми различных сословий и состояний. Среди них выделяются образы крестьян, написанные реалистично, без приукрашивания, с тем отличным знанием деревни, каким обладала Жорж Санд. В последние годы жизни Жорж Санд критика не уделяла ее сочинениям прежнего внимания. Может быть, это способствовало укреплению мнения, что последние

Не к себе стремлюсь я привлечь внимание, нет, цель у меня иная: я хочу сберечь для детей и внуков дорогую мне, священную память о человеке, который был моим мужем.

Сумею ли я хорошо написать – не знаю, ведь в двенадцать лет я не знала даже грамоте. Напишу как сумею. Я начну с событий очень давних и попытаюсь припомнить самые первые мои впечатления. Как у всех детей, чей ум не был развит воспитанием, они у меня очень смутны. Знаю, что родилась я в тысяча семьсот семьдесят пятом году, что пяти лет от роду лишилась отца и матери; я даже не могу припомнить их лица. Оба они умерли от оспы, я тоже чуть было не умерла от этой болезни – оспопрививание к нам еще не проникло. Меня вырастил мой двоюродный дед, он был вдов и воспитывал двух родных своих внуков, чуть постарше меня и тоже сирот.

В нашем приходе мы были из самых бедных. И все же мы не христардничали: дедушка ходил еще на поденщину, оба его внука уже начали зарабатывать; но у нас не было ни клочка земли, и нам с великим трудом удавалось выплачивать аренду за жалкий домишко, крытый соломой, и за огородик, где почти ничего не росло, потому что соседские каштаны его затеняли. На наше счастье, каштаны падали к нам, а мы помогали им падать; да и что в этом было худого – ведь разлапистые ветви нависали над нашими грядками и губили нам репу.

Дедушка – все звали его Жан Утес – был, несмотря на бедность, человеком великой честности, и когда его внуки залезали в чужие сады и огороды, бранил их и строго наказывал. Он говорил, что любит меня больше, чем их, оттого что я не зарюсь на чужое. Он требовал, чтобы я относилась ко всем уважительно, и научил меня молиться. Суровый и в то же время очень добрый, он, случалось, оставшись дома в воскресный день, даже ласкал меня.

Вот и все, что я могу припомнить до той минуты, когда мой детский ум пробудился благодаря обстоятельству, на первый взгляд совершенно пустячному, но для меня необычайно значительному и послужившему как бы отправной точкой моего дальнейшего существования.

В один прекрасный день дедушка поставил меня перед собой, зажал между колен, вlepил мне хорошую пощечину и сказал:

– Слушай, да повнимательней, что я тебе, малышка Нанетта, сейчас скажу. Не реви. Я тебя ударил, но вовсе не потому, что на тебя сержусь: напротив, только потому и ударил, что забочусь о тебе.

Я утерла слезы, подавила рыдания и стала слушать.

– Тебе уже одиннадцать сравнялось, – заговорил снова дедушка, – а ведь ты еще никакой работы, кроме как по дому, не знаешь. Ты в этом не виновата, у самих у нас ничего нет, а идти на поденщину тебе не под силу. Другие дети ходят за скотиной, пасут ее на общинном выгоне, а нам купить скотину все было не по карману; но вот мне удалось скопить кое-что, и я собираюсь пойти сегодня на базар и купить овцу. Ты должна поклясться именем Господа Бога нашего, что станешь о ней заботиться. Если ты не заморишь ее голодом, и не потеряешь, и будешь содержать в чистоте хлев, то овца станет гладкой и красивой и принесет доход, и на

ее произведения слабее романов 30–40-х годов, что в них нет страстного порыва к идеалу, нет желания разрешить острые социальные противоречия. Это позволило говорить об упадке ее творчества. «После 1849 года Жорж Санд не создала уже ничего значительного» (Д. Д. Оболюмовский. Французский романтизм. М., 1947. С. 321.). Это привычное утверждение опровергает роман «Нанон», в котором много превосходных страниц, запоминающихся характеристик действующих лиц, ярких картин природы, органически связанных с повествованием. Можно, конечно, согласиться с теми, кто считает, что воззрения Эмильена и приора, их мысли слишком глубоки и возвышенны, что несколько менее сочными красками написана сестра Эмильена Луиза и что достаточно традиционен облик старого слуги Дюмона. Впрочем, недостатки романа скорее относятся к концепции Жорж Санд, а не к ее проявившемуся в романе «Нанон» таланту, о чем полным голосом сказал в свое время Флобер. Он писал (в конце ноября 1872 года) Жорж Санд о только что «с удовольствием» прочитанных «прекрасных книжках» – «Нанон» и «Франсии»: «В «Нанон» меня прежде всего очаровал стиль, ряд простых и метких оборотов, вплетающихся в ткань и составляющих ее основу». Подчеркивая увлекательность сюжета, изложение, превратившее его из профессионального писателя в простого читателя, который не в силах оторваться от книги, Флобер продолжает: «Жизнь монахов, возникновение отношений между Эмильеном и Нанон, страх, вызванный разбойниками, и, наконец, заключение под стражу отца Фрюктьё – отнюдь не шаблонно, хотя могло быть таким» (Г. Флобер. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1956. С. 392.).

эти деньги в будущем году я куплю двух овец, а еще через год – четырех; вот тогда ты сможешь гордиться собой, ты увидишь, что у тебя не меньше ума-разума, чем у других девочек, которые помогают своим семьям. Поняла меня? Станешь делать, как я говорю?

Я была так взволнована, что и ответить толком не смогла, но дедушка почувствовал, что я очень хочу ему угодить, и отправился на базар, сказав мне, что вернется еще до захода солнца.

Тут я впервые ощутила, как тянется день, и уразумела смысл и значение своей работы. Кое-что я уже умела делать: подметала полы, прибирала в доме, пекла каштаны, но притом совсем не думала, что я делаю и кто меня этому научил. В тот день я обратила внимание на то, что к нам пришла Мариотта, наша соседка, жившая в большем достатке, чем мы; должно быть, она и вырастила меня, потому что я видела ее всякий день у нас, но никогда не задумывалась, почему это она заботится о нашем бедном хозяйстве и обо мне. Я рассказала ей все, что услышала от дедушки, а потом стала расспрашивать и поняла, что ведет она наше хозяйство как бы за ту работу, которую мой дедушка делает для нее: выкашивает ей луг и вскапывает огород. Мариотта была женщина достойная и добрая. Должно быть, она давным-давно начала учить и наставлять меня, и я во всем ее слушалась, но только теперь ее слова стали доходить до моего сознания.

– Наконец-то твой дедушка решился купить скотину! Я уже с каких пор толкую ему про это. Будут у вас овцы, будет и шерсть; я научу тебя промывать ее, прясть и красить в синий или черный цвет; и когда будешь ходить вместе с другими девочками пасти овец, ты научишься вязать, и уж как ты будешь гордиться, когда свяжешь носки дядюшке Жану, ведь бедняга ходит, почитай, ползимы все равно что босой, такие рваные у него чулки, а мне одной со всем не управиться. Обзаведись вы еще и козой, у вас было б молоко. Видала, как я делаю сыр? Вот и ты бы научилась. Что ж, будем и впредь надеяться на лучшее. Ты девочка чистоплотная, разумная, одежда у тебя не бог весть какая, но ты бережешь ее. Вот и поможешь дядюшке Жану выбиться из нужды. Ты много ему задолжала, ведь он впал в еще большую нищету с тех пор, как посадил тебя себе на шею.

Мариотта своими похвалами и ободрениями глубоко затронула мое сердце. Во мне проснулось самолюбие, и мне показалось, что со вчерашнего дня я выросла на целую голову.

Была суббота, а по субботним ужинам и воскресным завтракам мы лакомились хлебом. В другие дни мы, как и все бедняки в этой провинции, в Марше, пробавлялись каштанами да жиденькой гречневой похлебкой. Я рассказываю о временах давних, шел, должно быть, тысяча семьсот восемьдесят седьмой год. Тогда многие семьи жили так же худо, как и мы. Нынче бедняки все же едят получше. Повсюду проложены дороги, и крестьяне могут сбывать свои товары и получать за каштаны хоть малость пшеницы.

В субботу вечером дедушка всегда приносил с базара каравай ржаного хлеба и кусочек масла. Я решила сама приготовить ему ужин и попросила Мариотту хорошенько объяснить мне, как она его стряпает. Я сбегала на огород, надергала овощей и тщательно вычистила их своим тупым ножичком. Мариотта, видя, как ловко я их чищу, в первый раз дала мне свой нож, который прежде запрещала трогать из боязни, как бы я не порезалась.

Жак, старший из моих двоюродных братьев, пришел с базара раньше деда; он принес хлеб, масло и соль. Мариотта ушла, и я взялась за работу. Жак очень потешался над моим тщеславным желанием самой приготовить похлебку на ужин и твердил, что ее и в рот нельзя будет взять. Сварить похлебку стало для меня делом чести; к счастью, она всем пришлась по вкусу, и меня даже похвалили.

– Ну, коли ты и впрямь стала хозяйкой в доме, – сказал дедушка, отведав похлебки, – значит, будет тебе и радость по заслугам. Пойдем-ка со мною, встретим твоего младшего брата, он взялся привести ярочку и должен с минуты на минуту прийти.

Овца, о которой я так мечтала, оказалась всего-навсего ягненком, да к тому же, надо думать, никудышным, ибо он стоил всего три ливра^[2]. Но мне эти три ливра представлялись огромными деньгами, а потому и овечка обрела в моих глазах дивную красоту. Конечно, с самого рождения я видела предостаточно других овец и могла сравнить с ними свою; однако мне и в голову не приходило заглядываться на чужих овец; моя овечка мне так понравилась, что я вообразила, будто владею самой прекрасной животинкой на свете. Глаза ее помнятся мне до сих пор. Мне казалось, что овечка глядит на меня с любовью и преданностью, и когда она взяла с моей ладошки сочные листья и очистки, которые я сберегла для нее, мне стоило немалого труда сдержаться и не закричать от радости.

– Дедушка, послушай-ка, – заговорила я, пораженная мыслью, которая прежде не приходила мне в голову, – вот у нас и овца есть, чудесная овечка, а хлева для нее нет!

– Хлев мы поставим завтра, – отвечал он, – а пока овца пусть поспит у нас в углу. Сегодня ей не очень-то хочется есть, она устала с дороги. Как рассветет, ты води ее вниз по горной тропе, там есть трава, и овца досыта наестся.

Ждать до утра, чтобы покормить Розетту (так я окрестила овечку), было слишком долго. Мне разрешили, пока не стемнело, пройти вдоль живых изгородей и «собрать корм». Я брала в руку веточку молоденького вяза или лещины, пропускала ее сквозь пальцы, собирала листья в передник. Стало совсем темно, я в кровь исцарапала руки о колючки, но не чувствовала боли и ничего не боялась, хотя мне еще никогда не случалось выходить из дому одной после захода солнца.

Когда я вернулась, все уже спали, не обращая внимания на блянье Розетты, которая, должно быть, скучала в одиночестве, вспоминая о своих товарках. Она чувствовала себя «не на месте», как говорили у нас, то есть чужачкой. Розетта не хотела ни есть, ни пить. Это меня очень беспокоило и огорчало. Но наутро, пощипав свежей травы, она приободрилась. Я хотела, чтобы дедушка поскорее соорудил для нее пристанище, где она могла бы лежать на подстилке, и сразу же после мессы побежала на общинный выпас нарезать папоротника. Не я одна была такой прыткой – почти весь папоротник был уже срезан; к счастью, для одной овцы не много и нужно.

Но дедушка мой, уже не очень-то расторопный, только еще взялся за постройку, и я должна была помогать ему месить глину. Жак приволок большие плоские камни, ветки, куски дерна и огромную охапку дрова; к вечеру стены хлева были возведены и крыша покрыта. Дверка была такая узенькая и низкая, что только я одна и могла в нее пройти, да и то сильно пригнувшись.

– Видишь, – сказал мне дедушка, – овца теперь и впрямь твоя, потому как никто, кроме тебя, к ней и войти не сможет. Забудешь приготовить ей подстилку, нарезать травы днем, напоить на ночь, она заболит и подохнет, и ты же первая станешь по ней плакать.

– Вот уж чего можно не бояться! – гордо отвечала я, и в эту минуту я ощутила себя самостоятельной личностью. У меня было занятие, долг, собственность, цель, я несла ответственность за кого-то и – да позволено мне будет так выразиться, хотя речь идет всего лишь об овце, – испытывала поистине материнские чувства.

Вне всяких сомнений, я была рождена, чтобы за кем-то ухаживать, иначе говоря – кому-то служить, кого-то опекать, пусть даже это было бессловесное животное, и с той минуты я и проснулась к жизни. Сперва хлев Розетты очень мне нравился; но вскоре, услышав разговоры о том, что волки, которыми кишели наши леса, бродят чуть ли не под окнами, я уже не могла спать спокойно, непрестанно воображая, будто слышу, как они скребутся и стараются прогрызть лаз в убогий приют Розетты. Дедушка потешался надо мной, уверяя, что волки никогда

^[2] *Ливр* – старинная французская серебряная монета, в зависимости от эпохи и места чеканки – различной ценности.

на это не осмелятся. Я же продолжала стоять на своем, и он укрепил стены строения камнями потяжелее, а на крышу для большей надежности положил толстые ветви и скрепил их.

Всю осень я хлопотала вокруг моей овцы. Наступила зима, в особенно морозные ночи Розетту приходилось брать в дом. Дедушка любил чистоту и, не в пример тогдашним крестьянам, охотно державшим скотину, даже свиней, в доме, не переносил шедшей от нее вони и сперва не хотел терпеть овцу у себя под боком. Но я содержала Розетту в такой чистоте, так часто меняла ей подстилку, что дедушка перестал противиться моей причуде. Надобно сказать, что, привязавшись к Розетте, я стала лучше исполнять другие мои обязанности. Мне хотелось во всем угодить дедушке и братьям, чтобы у них уже не хватило мужества отказать мне, если я попрошу о чем-нибудь для моей овечки. Я сама вела все наше хозяйство, сама стряпала. Мариотта помогала мне делать лишь черную работу. Ставить заплаты и стирать я научилась быстро. С собою в луга я брала какое-нибудь шитье и привыкла делать два дела зараз, потому что, даже орудуя иглой, не забывала приглядывать за Розеттой. Меня можно было бы и в самом деле назвать добрым пастырем. Я не оставляла Розетту подолгу на одном месте и, чтобы она ела в охотку, не позволяла ей выщипывать всю траву, а потихоньку прогуливала ее, выбирая под пастбище зеленеющие обочины дороги; овцы не больно-то умны, приходится с этим соглашаться, они щиплют траву там, куда их приведут, и не переходят на другое место, пока не выедят все до самой земли. Это как раз о них можно сказать, что они ничего дальше собственного носа не видят, а все потому, что им лень смотреть. Возвращаясь с Розеттой домой, я никогда не гнала ее по дороге, над которой вздымались клубы пыли, поднятые проходящим стадом: я заметила, что, наглотавшись этой пыли, Розетта кашляет, а мне было известно, что у ягнят слабая грудь. Я следила и за тем, чтобы в подстилку не попадали зловредные травы вроде овсюга, зрелые зерна которого, попав в ноздри и глаза, вызывают воспаления и язвы. Из-за этого я всякий день умывала Розетту, а заодно приучилась и сама умываться и содержать себя в чистоте, чему меня никто не учил и что представлялось мне, весьма справедливо, столь же надобным для здоровья людей, как и животных. День ото дня все более деятельная, чувствуя, что я нужна моим близким, я начала заботиться о своем здоровье и очень скоро стала крепкой и неутомимой в работе, хотя на вид была шуплая и худенькая.

Не думайте, что моим рассказам об овце уже конец. Выше я говорила, что любовь к ней решила всю мою судьбу. Но, чтобы вам были понятны последующие события, сейчас самое время рассказать о нашем приходе и о его жителях.

Нас было не больше двухсот душ, или, если сказать иначе, каких-нибудь полсотни очагов, разбросанных на протяжении полулье по узкому ущелью, ибо жили мы в гористой местности; с середины ущелья расширялось, образуя прелестную долину, в которой раскинулся Валькрёзский монастырь со всеми своими угодьями. Монастырские здания были обширны, добротной постройки, кругом шли высокие стены со сторожевыми башнями и с воротами под сводчатыми арками. Церковь была старинная, маленькая, но очень высокая и довольно богато убранная. Чтобы попасть в нее, надо было пройти большим двором, по обе его стороны и в глубине виднелись красивые строения: трапезная, зала капитула, кельи для двенадцати монахов, а кроме того, конюшни, хлевы, риги, сараи, где хранился всевозможный инструмент; ибо монахи владели почти всей землей в нашем приходе, а обрабатывали для них эту землю и снимали урожай барщинные крестьяне, которым братья за недорогую цену сдавали в аренду жилища: все дома в приходе были собственностью монастыря.

Несмотря на огромные богатства, монахи Валькрёзского монастыря совсем обезднели. Странно, но люди, у которых нет семьи, не умеют извлекать пользу из своего добра. Я знавала старых холостяков, которые, отказывая себе во всем, скопили кучу золота, а умерли, даже и не подумав составить завешание, словно бы никогда не любили ни самих себя, ни своих ближних. Знавала я и таких, которые позволяли обирать себя не по доброте, а ради собственного душевного покоя; но ни у кого эта черта не проявлялась так отчетливо, как у наших мона-

хов: уверяю вас, у них и в мыслях не было хоть как-нибудь улучшить свое хозяйство. Они не думали ни о семье, ибо не имели права ею обзаводиться^[3], ни о будущем своей общины: оно их вовсе не заботило. Не более заботило этих монахов и плодородие их земли и тот уход, который ей требовался. Они жили, не думая о завтрашнем дне, словно путники на привале; засеивали одни и те же участки, забывали о других, истощая тем самым почву, которая им приглянулась, пренебрегая той, за которой не могли или не умели ухаживать. В долине были большие пруды, монахи прекрасно могли бы их осушить и потом засеять землю, но тогда рыбу в пост пришлось бы покупать, меж тем им казалось, что удобней ловить ее в своих собственных владениях. Они были ленивы, рубили только ближние леса, а остальные постепенно гибли. Их обирали, а ведь они могли бы оказать добрую услугу нашей голытьбе, приучив ее к честности, ежели бы нетерпимо относились к лени, которая и порождает воровство. Но монахи были слишком нерадивы либо слишком робки и помалкивали.

Надобно вам все же сказать, что и времена наступали такие, что монахам было не так-то просто снискасть уважение. Казалось бы, у нас, местных жителей, нет причин жаловаться на этих людей, которые в большинстве своем были ни злыми, ни добрыми, даже и хотели бы творить добро, но не знали, как за это приняться. И все равно, какими бы покладистыми они ни были, крестьяне на них жаловались, не хотели их больше терпеть, не почитали их, более того – относились к ним презрительно. Крестьянам вообще свойственно не уважать людей, которые плохо управляют со своими делами. Я-то знаю, как смотрит на жизнь крестьянин, потому что сама из крестьянской семьи. Превыше всего он почитает землю – свою кормилицу. И в тот ничтожный клочок, которым владеет, он вкладывает всю душу; к той же земле, которой владеют другие, он вожделеет, и отойдет она к нему или нет, все равно он ее чтит, полагая, что только через нее снисходит к нему милость Господня, которую он может увидеть. О деньгах крестьянин во времена моей юности не очень заботился. Он не знал, что с ними делать. Трястись над ними, пускать их в оборот, чтобы деньги шли к деньгам, – этой наукой владели буржуа. Для нас же, для тех, кто жил обменом – с одной стороны труд, с другой – товар, – деньги не были заветной мечтой. Их так редко видали в глаза, так редко держали в руках, что о них и не помышляли; все думы были о том, как бы приобрести в собственность какой-нибудь там луг или лесок, как бы обзавестись садом и огородом. При этом говорили: «На это имеют право лишь те, что работают и рожают детей».

Сдерживало крестьян только благочестие, но оно уже не сдерживало буржуа и давным-давно стало посмешищем для аристократии. В монастыри не посылали даров, не делали вкладов, им не завещали имущества; младшие дети из знатных семей только в самых редких случаях шли теперь в монастырь; капитал не обновлялся, поместья приходили в упадок. Церковь теперь не влекла к себе людей, когда она требовала от них денег; приятнее было стать аббатом и самому получать их.

И в Валькрёзском монастыре было шесть монахов вместо двенадцати, а позднее, перед роспуском общины, их оставалось там всего трое.

Возвращаюсь теперь – не скажу «к моим баранам»^[4], потому как у меня была только одна овца! – а к моей милой Розетте. Наступило лето, трава почти вся выгорела, она не росла даже на склонах, и я не знала, что мне придумать, как прокормить Розетту. Мне приходилось забираться далеко в горы, я боялась волков. Дождей все не было. Розетта тощала, я впадала в отчаяние. Дедушка Жан, видя, как я убиваюсь, не упрекал меня, но был недоволен, что вло-

^[3] ...не имели права ею обзаводиться... – В X–XI вв. в числе преобразований, направленных к укреплению католической церкви, введено было безбрачие духовенства (целибат).

^[4] ...«к моим баранам»... – Здесь обыгрывается цитата из анонимной средневековой комедии «Адвокат Патлен» (около 1470 г.). Иносказательно – «вернемся к нашей теме» и т. п.

жил свои деньги, свои три турнуазских ливра^[5], в дело, которое требовало стольких трудов и обещало так мало выгоды.

И вот, когда я как-то раз шла вдоль принадлежащего монастырю лужка, густо поросшего травой и еще зеленого, потому что через него протекала речка, Розетта остановилась у изгороди и заблелась так жалобно, что у меня от горя и жалости помутилось в голове. Калитка была не заперта, даже неплотно притворена, и Розетте ничего не стоило просунуть голову, потом туловище и ловко проскользнуть на лужок.

Сперва я пришла в ужас – овца пролезла на огороженный участок, куда не было ходу мне – мне, существу разумному, сознающему, что она – бедная невинная овечка! – не имела права этого делать. К тому времени я уже начала понимать, что такое чистая совесть, и немного гордилась собой – ведь я никогда не совершала набегов на чужую собственность, за что меня хвалил дедушка и уважали двоюродные братья, которые отнюдь не были столь щепетильны.

Я спрашивала себя, не следует ли мне заставить Розетту подчиниться моим нравственным убеждениям, которые у нее явно отсутствовали. Я звала ее, но она притворялась глухой и ела с жадностью. А какой счастливой она выглядела!

Я снова и снова звала ее вплоть до того мгновения, того счастливого (должна в этом признаться!) мгновения, когда вдруг увидела по ту сторону изгороди юное и кроткое лицо послушника, который смеясь глядел на меня.

II

Мне стало очень стыдно: ведь мальчик наверняка смеялся надо мной, а я, надо думать, была очень самолюбива, потому что не смогла сдержаться и расплакалась, – так непереносим был этот стыд.

Монашек удивился и заговорил со мной голосом столь же кротким, как его лицо:

– Ты плачешь, малышка? Какое же у тебя горе приключилось?

– Плачу я из-за моей овечки, – отвечала я. – Она забралась на ваш луг.

– Ну, тут она не потеряется. Раз она ест, значит, довольна.

– Она-то довольна, я понимаю, но только я на нее сердита – ведь она занимается грабежом.

– Как это – «занимается грабежом»?

– Ест чужое добро.

– Чужое добро! Ты сама не знаешь, малышка, что говоришь. Достояние монахов принадлежит всем людям на свете.

– Выходит, этот луг уже не монастырский? А я и не знала.

– Ты неверующая?

– Что вы! Каждый день читаю молитву.

– Ну, раз так, значит, ты каждое утро просишь у Бога хлеб твой насущный, а церковь наша богата и должна подавать всем, кто просит Господним именем. Ежели она не станет служить делам милосердия, зачем же она тогда надобна?

Я слушала разиня рот, не понимая, о чем он говорит: хотя валькрёзские монахи были не такие уж дурные люди, все же они пытались, как могли, защищать свое добро от расхищения, и был у них один такой монах – брат Фрюктюё, выполнявший обязанности эконома, который всякий раз, застав потравщиков на месте преступления, поднимал громкий крик и грозил страшными карами. С прутом в руках он гнался за ними, – правда, не очень далеко, потому

^[5] *Турнуазский ливр* – золотая монета, которая в XVII в. заменила все имевшие хождение монеты того же названия (парижский ливр и др.). Название получил от города Тура. Был в обращении до 1795 г., то есть до введения франка.

что был слишком толстый, чтобы бегать быстро, – но все же его боялись и говорили, что он человек злой, хоть он никогда и мухи не обидел.

Я спросила у юноши, стерпит ли отец Фрюктьюё, когда моя овца будет щипать его траву.

– Про это я ничего не знаю, – ответил тот, – знаю только, что трава эта не его.

– А чья же?

– Господня. Ведь это Господь растит ее на потребу всякой животине. Не веришь?

– Чего не знаю, того не знаю. Но только ваши слова мне очень на руку! Если бы бедняжка Розетта могла малость подкормиться у вас в этакую-то засуху, вы уж поверьте, лентяйкой я от этого не стала бы. Поднимется в горах трава, и я снова стану ее туда водить, правду вам говорю.

– Ладно, оставь ее тут и приходи за ней вечером.

– Вечером? Ой, нет, что вы! Увидят ее монахи и заберут, а дедушке придется идти вывозить ее, да еще упреки терпеть; он станет меня бранить и скажет, что я такая же дрянь, как и другие, а уж обиднее этого ничего для меня нет.

– Вижу, что воспитали тебя хорошо. А где он живет, твой дедушка?

– Вон там, повыше, самый маленький домик на полдороге к ущелью. Видите? Да вон он, подле тех трех толстых каштанов.

– Ну ладно, как твоя овечка наестся, я ее приведу.

– А вдруг монахи станут вас бранить?

– Они не станут меня бранить. Я им объясню, в чем заключается их долг.

– Вы у них учителем?

– Я? Вовсе нет. Я всего лишь ученик. Меня поручили им, чтобы они наставили меня и подготовили к постригу, когда я войду в возраст.

– А когда вы войдете в возраст?

– Года через два-три. Мне скоро шестнадцать.

– Значит, вы, как говорится, послушник?

– Еще нет, я здесь всего два дня.

– Должно быть, потому я вас никогда не видела. А из каких мест вы будете?

– Я здешний; ты слыхала о семействе и о замке Франквиль?

– Честное слово, не слыхала. Я только и знаю, что Валькрё. Ваши родители, верно, совсем бедные, коли отослали вас от себя?

– Мои родители очень богаты, но нас, детей, у них трое, а делить имущество они не хотят, берегут для старшего сына. За нас с сестрой внесут только вклады, чтобы каждый из нас вступил в предназначенную ему обитель.

– А сколько ей лет, вашей сестре?

– Одиннадцать, а тебе?

– Еще тринадцати не сравнялось.

– О, да ты рослая, сестра на целую голову ниже тебя.

– Вы, видно, любите сестру?

– Только ее я и люблю.

– Что вы! А отца с матерью?

– Я их едва знаю.

– А брата?

– Еще меньше.

– Как же так получилось?

– Родители хотели, чтобы мы с сестрой жили в деревне, а сами приезжали туда не часто, они с моим старшим братом живут в Париже. Но ты, должно быть, не слыхала про Париж, если и про Франквиль не знаешь.

– Париж – это где король?

– Верно.

- Ваши родные живут у короля?
- Да, они служат в его доме.
- Они королевские слуги?
- Они придворные; но ты ничего во всем этом не поймешь, и тебе это не интересно.

Расскажи-ка лучше про овцу. Она тебя слушается, когда ты ее зовешь?

- Не очень-то, если голодная, вот как сегодня.
- Значит, если я захочу отвести ее к тебе, она и меня не послушается?
- Очень может статься. Лучше я подожду, раз уж вы согласны потерпеть ее немножко у себя.

– У меня? У меня ничего своего нет и никогда не будет. Меня вырастили в этой мысли: ничто не должно мне принадлежать, и ты с твоей овечкой богаче меня.

- Вам обидно, что у вас ничего нет?
- Нисколько не обидно. Я рад, что не стану страдать из-за вещей тленных.
- Тленных? А ведь верно, моя овца может подохнуть и истлеть.
- А живая она тебе много хлопот доставляет?
- Конечно, много, но ведь я ее люблю, и мне не трудно заботиться о ней. А вы, значит,

никого не любите?

- Я всех люблю.
- Кроме овец?
- Я к ним ни добрых, ни злых чувств не питаю.
- А ведь они такие славные. Может, вы любите собак?
- У меня был пес, и я его любил. Но взять его сюда мне не разрешили.
- Вам, наверно, грустно жить вдали от дома, под началом у чужих?

Он удивленно взглянул на меня, как будто такая мысль ни разу не приходила ему в голову, потом ответил:

– Меня ничто не должно печалить. Мне всегда твердили: «Ни во что не вмешивайтесь, ни к чему не привязывайтесь, научитесь ко всему относиться бесстрастно. Это ваш долг, и лишь в исполнении его вы обретете счастье».

– Вот забавно! Мой дедушка тоже все мне о долге твердит: только он говорит, будто мой долг – ни минутки не сидеть сложа руки, хорошо хозяйничать и все делать с душой. Видно, детям бедняков про долг говорят одно, а детям богатых – совсем другое.

– Нет! Это говорят тем детям, которые должны вступить в монастырь. Но уже скоро вечерня начнется, мне пора в церковь. Ты уведешь овечку, когда захочешь, а если вздумаешь привести ее завтра...

- О, я не осмелюсь!
- Можешь ее приводить, я скажу об этом отцу эконому.
- Он сделает, как вы захотите?
- Он очень добрый и не откажет мне.

Юноша ушел, и я видела, как он садами, под звон колоколов, возвращался в монастырь. Я позволила Розетте еще немного пощипать траву, потом покликнула ее и отвела домой. С того самого дня я очень отчетливо помню все, что со мною случилось в жизни. Сперва я не очень-то раздумывала о моей встрече с молодым монашком. Меня поглощала радостная мысль о том, что он, может статься, добудет мне позволение приводить иной раз мою Розетту на монастырский луг. Я удовольствовалась бы малым. Дедушка во всем подавал мне пример учтивости и воздержанности, так что скромность вошла у меня в плоть и кровь.

Я не была словоохотлива, мои двоюродные братья, большие насмешники, отнюдь не поощряли меня к болтовне, но позволение пасти овцу на том лугу так засело у меня в голове, что я рассказала вечером за столом все, только что рассказанное вам, да с такой точностью, что даже привлекла внимание дедушки.

– Ага, – сказал он, – значит, это франквильского молодого барина привезли они в монастырь в понедельник вечером – мы покамест его еще не видели. Младший отпрыск славного рода – вот как это говорится. А вы, ребята, бывали во Франквиле? Ну и поместье!

– Я проходил разок теми местами, – сказал тот из моих братьев, что был помоложе. – Далеко это, в сторону Сент-Леонара, того, что в Лимузене.

– Ну уж, двенадцать лье – не так и далеко, – отвечал Жак со смехом. – Я там тоже побывал однажды, когда валькрёзскому настоятелю понадобилось доставить туда письмо – он даже велел дать мне монастырскую ослицу, только бы я побыстрее добрался. Видать, дело было срочное, не очень-то охотно он дает ее, эту свою большую ослицу.

– Неуч ты! – возразил ему дедушка. – Кого ты величаешь ослицей – это лошачиха.

– Да не все ли равно, дедушка! Меня провели в кухню, и я говорил с управляющим, звать его господин Премель. А еще видел я молодого барина, и теперь понимаю – письмо это было послано, чтобы поскорей это дело обтяпать.

– Его обтяпали еще до того, как молодой барин на свет появился, – возразил мой дедушка. – Только и ждали, чтобы он в возраст вошел. Была у меня племянница, она этой малышке, что тут сидит, матерью приходилась. Теперь-то она на том свете; так вот, моя племянница служила скотницей как раз в замке, о котором речь. Я очень даже хорошо могу рассказать обо всех делах этого семейства. У них земли ни мало ни много на добрых двести тысяч экю^[6], и земли стоящие, доход хороший дают. И присмотрены, не в забросе, как у наших монахов. Тот, кто у них всем ведает, – они его управителем зовут – человек опытный и очень строгий, но таким он и быть должен, ежели взялся управлять большим поместьем.

Пьер заметил, что не видит проку в богатстве, когда двое детей из троих остаются ни при чем. И в соответствии с новыми веяниями, что начинали проникать даже в наши бедные хижины, он осудил тех аристократов, которые все еще обделяют своих младших детей.

Дедушка мой был крестьянин старой закваски; он вступился за право первородства^[7], сказав, что ежели поступать иначе, так ни одного крупного поместья не останется.

Немного поспорили. Пьер был вспыльчив, он даже повысил голос в споре с дедом и в конце концов заявил:

– К счастью, беднякам делить нечего; вот тут сидит мой старший брат, и я его крепко люблю, а уж как ненавидел бы, ежели бы знал, что хоть семья наша не безземельная, а мне все равно ничего не достанется.

– Вы сами неведомо что несете, – отвечал старик, – так только голодранцы и рассуждают, а у аристократов понятия возвышенные, они о своем величии радеют, и младшие за честь почитают пожертвовать собою, чтобы род их сохранил все свои титулы и богатства.

Я спросила, что это значит – «пожертвовать собою».

– Ты еще чересчур мала, чтобы понимать такие вещи, – ответил мой дедушка.

И пошел спать, тихонько бормоча молитву.

Я все твердила эти новые для меня слова «пожертвовать собою», и Пьер, который любил строить из себя всезнайку, сказал мне:

– А я знаю, что хотел сказать дедушка. Пусть он защищает монахов, пусть они богатые и бездельничают в свое удовольствие, все равно всем известно, что нет людей несчастней, чем они.

– А почему они несчастные?

– Потому что их презирают, – ответил Жак, пожимая плечами.

И тоже отправился спать.

^[6] *Экю* – французская золотая монета, введенная королем Людовиком IX (XIII в.) и чеканившаяся до 1653 г., когда была заменена серебряной, имевшей хождение с 1641 по 1793 г. В романе имеется в виду серебряный экю.

^[7] *Право первородства*, или майорат (от лат. *maior*, т. е. старший), – порядок нераздельного наследования недвижимого имущества (в первую очередь земель феодальной аристократии) старшим в роде или в семье.

Я потихоньку убрала со стола, стараясь не разбудить уже похрапывавшего дедушку, потом немного замешкалась и, когда Пьер начал закапывать в золу уголья, которые одни лишь и освещали наше жилье, подошла к нему перекинуться словечком. Меня томило желание узнать, почему монахи презираемы и несчастны.

– Ты же сама видишь, – сказал мне Пьер, – что у них нет ни жен, ни детей. Неизвестно даже, есть ли у них родители или братья с сестрами. Как только они «затворяются», семья о них забывает или отказывается от них. Они теряют все, даже свое имя, будто невесть откуда взялись. Становятся толстыми, безобразными, вечно ходят грязные в этой своей долгополой одежде, хотя и могут содержать себя в чистоте. И к тому же это так нудно – вечно бормотать молитвы. Молиться Богу – дело, конечно, неплохое, только что-то мне сдается – вовсе ему не надобно, чтобы так много молились, и от этих монахов с их колокольным звоном и латынью у него наверняка голова раскалывается. В общем, толку от них никакого! Распустить бы их всех по домам, а землю отдать тем, кто станет ее обрабатывать.

Уже не в первый раз слушала я подобные рассуждения, но они казались мне пустой болтовней. Я уважала собственность и считала, что изменить что-либо на свете невозможно, значит, и желать этого бесполезно.

– Глупости говоришь, – ответила я Пьеру. – Кто богат, тому не помешает быть богатым. Лучше скажи, что ты думаешь об этом молодом монахе, об ученике, который разрешил мне пасти Розетту на монастырском лугу. Как, по-твоему, послушаются они его?

– Не станут они его слушаться, – сказал Пьер. – Он еще жеребеночек, еще не умеет тянуть соху. Старые монахи, которые знают свое дело, заберут твою овцу, ежели увидят ее у себя, а монашка тут же и накажут, чтобы не ослушничал.

– Ну, тогда я больше не пойду туда. Не хочу, чтобы его, такого доброго и учтивого, наказывали из-за меня.

– Можешь туда пойти во время утренней службы. В эти часы отец Фрюктюё всегда в церкви.

– Нет, нет! – вскричала я. – Не хочу быть воровкой!

Уснула я очень растревоженная. Я не столько думала теперь о Розетте, сколько об этом мальчике с добрым сердцем, который обречен быть несчастным, презираемым, «принесенным в жертву», как сказал дедушка. Ночью разразилась ужасная гроза, молнии освещали все небо, а от громовых раскатов волосы вставали дыбом. Так по крайней мере рассказал нам утром дедушка, потому что только он один и проснулся от грозы: в юности так сладко спится – даже в ветхой лачуге! – но когда я сняла с окна ставень, – стекло у нас и в помине не было, – то увидела мокрую землю и множество ручейков вокруг скалы, бегущих по бороздкам, которые они промыли в песке. Я побежала поглядеть, не унес ли ветер хлев. Но он устоял, и меня охватила радость: прошел дождь, значит, скоро зазеленеет трава.

В полдень проглянуло солнце, и я ушла с Розеттой в одно укромное место, защищенное от непогоды нависшими скалами, где всегда можно было найти немного зеленой травы; другие пастухи не любили туда ходить, потому что спуск был крутой и небезопасный. В тот день там не было ни души, и я уселась на берегу бурливого и пенистого потока. Прошло не очень много времени, и вдруг меня кто-то окликнул по имени, и я увидела молодого монаха, который спускался в овраг, направляясь ко мне. Очень опрятный в своем новом одеянии, с виду он был вполне доволен жизнью и смело прыгал с камня на камень. Мне он показался красивее всех на свете. А между тем он не был красив, мой дорогой, бедный мой Франквиль, но выражение лица у него было такое доброе, глаза были такие ясные и весь облик такой кроткий, что никогда и никому не пришлось бы в голову назвать его внешность неприятной или отталкивающей.

Я была изумлена.

– Как это вы разыскали меня, и кто вам сказал, как меня зовут? – спросила я.

– Сейчас все тебе расскажу, – ответил он. – Давай позавтракаем, а то я очень есть хочу.

И он извлек из-под одежды корзиночку, в которой лежали паштет, бутылка вина и мясо – вещи мне доселе незнакомые! Я заставила долго себя упрашивать, прежде чем отведала мяса. От непривычки и некоторой опаски я испытывала отвращение к этой новой пище, однако она мне понравилась; а вот вино показалось таким мерзким, что я скорчила гримасу, над которой вдоволь посмеялся мой новый друг.

За едой он рассказал мне следующее.

Не надо называть его ни господином, ни Франквилем; отныне он просто брат Эмильен, это имя ему дали при крещении. Он попросил эконома позволить мне пасти Розетту на лугу, но, к великому своему удивлению, получил решительный отказ. Отец Фрюктьё привел всевозможные резоны, которых Эмильен так и не понял; но, видя, как юноша огорчен, эконом позволил отдавать мне еду, когда только он захочет, и брат Эмильен, не заставляя повторять позволение дважды, сложил свой обед в корзинку и отправился в домик, который я накануне ему указала. Там он никого не застал, но повстречавшаяся ему пожилая женщина, в которой, по его описанию, нетрудно было узнать нашу Мариотту, почти правильно объяснила ему, где меня искать, добавив при этом, что зовут меня Нанетта Сюржон. Он верно выбрал дорогу: судя по всему, он привык лазить по горам. И вообще, как мне пришлось впоследствии убедиться, по своим привычкам он был скорее крестьянин, чем барин. Его ничему не учили, он сам себя образовал. Ему запрещали охотиться вместе с другими дворянами, он сделался браконьером на своих собственных землях и очень ловко бил зайцев и куропаatok; но так как этим он нарушал запрет, то дичь он отдавал крестьянам, которые показывали ему кустарники, где она водилась, и хранили его тайну. У них он научился плавать, ездить верхом, лазить по деревьям и даже делать всякую крестьянскую работу, потому что был сильный малый, хоть и не больно крепок с виду.

Понятно, все, что я сейчас о нем скажу, чтобы познакомить вас и с ним самим и с его положением, стало мне известно не в тот день и не в том месте; да я и четвертой части не поняла бы тогда, мне понадобились годы, чтобы разобраться в том, о чем коротко расскажу вам сейчас.

Эмильен де Франквиль обладал характером и природным умом. Родные, стремясь помешать ему занять главенствующее положение в семье, хорошо и много поработали, дабы убить в мальчике ум и сердце. Его брат, видимо, был менее одарен от природы, но он был старшим, а в семье Франквилей все младшие дети вступали в орден. Это правило никогда не нарушалось, оно переходило из поколения в поколение, от отца к сыну. Маркиз, отец Эмильена, считал сие правило очень важным, важнее всех государственных законов. Маркиз утверждал, что оно упрощает введение в наследование и, значит, уменьшает роль стряпчих, которые любят всюду совать нос, заводят длиннейшие процессы и стараются раздробить крупные состояния. Мальчик, которому предназначено было стать монахом, ни на что не мог рассчитывать. Детей у него не будет; постригаясь, он не оставлял никаких зацепок в будущем для крючкотворов. Словом, так оно было заведено, и маленькому Эмильену, едва он научился отличать правую руку от левой, все это объяснили, отказав в праве на собственное суждение.

Можно предположить, что он пытался протестовать; но эти протесты подавили так быстро и решительно, что, едва вступив в жизнь, он уже для многого был мертв и так наивен в свои шестнадцать лет, какими бывают лишь в восемь. В наставники ему дали какого-то слабоумного, у которого, однако, хватило ума понять, что от него требуется одно: превратить ученика в такого же слабоумного, каким был он сам. Не преуспев в этом начинании до конца, ибо Эмильен всегда был и умен и разумен, он, делая вид, что занят обучением ребенка, всецело предоставил того самому себе. Мальчик, придя в монастырь, еле-еле мог читать и писать, но он о многом размышлял, многое понял на свой лад и сам преобразовал свою душу.

Сердце он отдал Богу, как склонны поступать все, кому Бог единственный друг и заступник; но чем настойчивее пытался наставник объяснить ему Бога по-своему, тем решительнее

склонялся ученик к своему собственному пониманию. Он отнюдь не был противником церкви. Но считал, что она вся – от мира сего, и, значит, ее не следует слишком возносить и вполне можно не одобрять и порицать, если церковь сбивается с пути истинного, предначертанного ей свыше. Над тем, что Эмильен мне сказал в тот первый день, он размышлял потом всю жизнь. Церковь, по его разумению, должна лишь учить любви к Господу, утишать горести и врачевать раны. От всего остального Эмильен просто отмахивался, ни с чем не спорил – пусть говорят что хотят – и поступал согласно своей совести. В конце концов в силу того, что он был заброшен, предоставлен самому себе и вместе с тем от всего отстранен, Эмильен создал себе особый мир, положив в его основу собственные мечтания, и вошел во вкус этой уединенной и независимой жизни. Он никому не перечил и даже всем уступал из учтивости или от скуки; но переубедить его в чем-либо было делом невозможным, он ускользал от любого принуждения, едва лишь на него переставали обращать внимание. И в силу того, что у него отняли все, столь желанное людям, он стал презирать все, в чем ему было отказано.

III

Когда мы позавтракали, он уснул на нагретом солнцем камне. Потом, проснувшись, спросил меня, о чем я думаю, когда вяжу и приглядываю за овцой.

– Обыкновенно я думаю о множестве вещей сразу, – сказала я ему, – а потом и не вспоминаю о них; но сегодня я только дивилась вам: выходит, вы вертите монахами как хотите и проводите дни, где и как вам в голову взбредет?

– Не знаю, станут ли монахи бранить меня за это, – отвечал он. – Не думаю, потому что, если я приму постриг у них, они получат изрядный вклад, и им совсем не с руки отвратить меня от своей обители, прежде чем они получают мои деньги; это я уже понял. Что же до моего обучения, так они не станут особенно приставать ко мне.

– Почему же?

– По очень простой причине: они и сами знают не намного больше моего и, если слишком прилежно возьмутся за дело, очень быстро истощатся.

– И вы тоже презираете их, этих монахов?

– Нет, я их не презираю, я вообще никого не презираю. По-моему, они люди очень приятные, и я не стану огорчать их больше, чем они меня.

– Значит, вы будете иногда приходить повидаться со мной?

– Конечно, с удовольствием. И всякий раз, когда захочешь, буду приносить тебе еду.

Я вспыхнула от досады.

– Не нужно мне вашей еды, – сказала я, – у нас все есть, что мне нужно, и наши каштаны, по-моему, куда вкуснее ваших паштетов.

– Значит, тебе приятно меня видеть, раз ты хочешь, чтобы я приходил?

– Ну да; но если вы думаете...

– А я только то и думаю, что ты хорошая девочка, к тому же напоминаешь мне мою сестру; я буду рад снова тебя увидеть.

Начиная с этого дня мы виделись очень часто. Он правильно угадал, как станут вести себя с ним валькрёзские монахи; они позволили ему свободно располагать своим временем, требуя от него лишь присутствия на некоторых церковных службах, чему он и подчинился. Скоро он свел знакомство с моими братьями, и однажды мы вдоволь посмеялись его рассказу о том, как он был вызван приором и как тот сказал, что, поразмыслив над его юным возрастом, счел себя вправе освободить Эмильена от утренней службы.

– Вы не поверите, – добавил Эмильен, – что я имел глупость, поблагодарив приора, сказать, что привык вставать на рассвете и мне совсем не трудно простоять заутреню. Он твердил свое, а я – свое, стараясь показать, сколь я покорен уставу. Вот была потеха! Наконец брат

Памфил толкнул меня локтем и, когда я вышел вслед за ним во двор, сказал мне: «Если вы, мой мальчик, во что бы то ни стало хотите ходить к заутрене, помните, что вы окажетесь в церкви в полном одиночестве: вот уже более десяти лет ни один из нас не ходит к заутрене, и отец приор был бы в большом затруднении, если бы вздумал приневоливать нас к этому, ибо сам и побудил отменить столь бесполезное умерщвление плоти». Тогда я спросил у него, зачем в таком случае к этой службе звонят? Он ответил, что надо же и звонарю заработать себе на хлеб, а ничего другого этот бедный прихожанин делать не умеет.

Однако Жак утверждал, что есть и другая причина, почище этой.

– Монахи лицемеры, – сказал он. – Они хотят убедить прихожан, будто по утрам возносят молитвы Богу, а сами в это время нежатся на своих пуховиках.

Жак не упускал случая поиздеваться над монахами и не стеснялся говорить Эмильену, что тот делает глупость, вступая в это сообщество лежебок. Когда дедушка слышал такие слова, он приказывал внуку замолчать, но братец Эмильен – так мы его называли – отвечал ему:

– Пусть себе говорит; монахов следует судить тем же судом, что и прочих людей. Я их знаю, я должен ладить с ними, чтобы мы ужились вместе. Я их не обвиняю, но и не считаю себя обязанным защищать. Если их занятие кажется бесполезным, значит, они сами в том виноваты.

Когда братца не было с нами, мы почти все время говорили о нем. Наша жизнь была так бедна событиями, что частые посещения нового человека, иной раз проводившего с нами целые часы, не могли не казаться нам настоящим событием. Пьер, младший из братьев, любил его всем сердцем и защищал от нападок Жака, который не ставил его ни во что. В этом он сходиллся с дедушкой, упрекавшим Эмильена в том, что тот не умеет держаться в соответствии со своим благородным происхождением, забывает, что он Франквиль, и, наконец, что он не так благостен, как следовало бы будущему монаху.

– Пустой он человек, – говорил дедушка, – никогда из него не выйдет ни настоящего дворянина, ни настоящего монаха. Не злой, даже чересчур добрый; вроде бы порядочный, за девчонками еще не бегает, но не очень-то его беспокоят ни этот свет, ни тот, а между тем ежели не годишься для того, чтобы держать в руках шпагу, так надо быть пригодным служить в церкви.

– Кто это вам сказал, что он не мог бы держать в руках шпагу? – взволнованно кричал Пьер. – Он ничего не боится, и не его это вина, что из него не сделали доброго солдата, а превратили в заморыша монаха.

Я слушала эти споры, не очень-то зная, кому верить. Сперва я мечтала о дружбе с братцем; но он не выказывал мне такого внимания, какое выказывала ему я. Всегда он был в добром расположении духа, всегда готов услужить, провести часок-другой с первым встречным и вспоминал обо мне, только когда видел. Я вообразила, что смогу заменить ему сестричку, что утешу его в горестях, но у него больше не было горестей, которые он мог бы мне поверять. Он всем рассказывал о своем положении, никак его не оценивая, и повествовал о своем печальном детстве так, будто сам его не перестрадал; может быть, дело было в том, что смутная улыбка, постоянно блуждавшая на его лице и становившаяся еще шире, когда он говорил о вещах грустных, лишала его рассказы подлинного интереса. В общем, он отнюдь не походил на принесенное в жертву дитя, каким сперва я нарисовала его себе, и потому я вновь стала предпочитать ему Розетту, нуждавшуюся во мне, тогда как он не нуждался ни в ком.

Зима, суровая зима восемьдесят восьмого года миновала, так же как и весна восемьдесят девятого^[8]. Политические события мало занимали жителей Валькрё. Грамоте мы не знали и в

[8] ...суровая зима восемьдесят восьмого года миновала, так же как и весна восемьдесят девятого. – Зима 1788–1789 гг. была необычайно суровой, по замерзшей Сене затруднена была доставка продовольствия в Париж, нуждающееся население которого испытывало дополнительные трудности в придачу к безработице, вызванной экономическим кризисом, разорением мануфактур, после неблагоприятного для Франции торгового договора с Англией (1786). Эти обстоятельства приводили к волнениям среди населения и способствовали складыванию революционной ситуации.

большинстве своем были – скорее юридически, чем на деле – неотчуждаемыми крепостными аббатства. Монахи не слишком обременяли нас барщиной, но зорко следили за выплатой десятины^[9] и, так как это вызывало недовольство, старались как можно меньше с нами разговаривать. Если до них доходили новости, нам они ничего не рассказывали. Наша провинция была одной из самых спокойных, и люди, приезжавшие в монастырь по делам из других мест, совсем не разговаривали с нами. Ведь по тем временам крестьян и за людей не считали.

Революция уже началась, а мы о ней понятия не имели^[10]. Но все же в один из базарных дней и у нас распространился слух о взятии Бастилии^[11], и так как эта новость взволновала даже наш приход, мне захотелось узнать, что же это такое – Бастилия!

Я не довольствовалась объяснениями дедушки, потому что мои братья говорили прямо противоположное, случалось, что и при нем; это его очень сердило. Я решила хорошенько расспросить братца, стала подкарауливать его и наконец встретила, когда он бродил по окрестностям, прогуливая уроки; я попросила его – ведь он должен знать куда больше нашего! – объяснить мне, почему одни радуются из-за этой самой Бастилии, а другие тревожатся и волнуются. Я полагала, что Бастилия – это какая-то женщина, которую посадили в тюрьму.

– Нет, – ответил он, – Бастилия была ужасной тюрьмой, и парижане ее разрушили.

И он так объяснил мне суть и смысл происшедшего, как это мог бы сделать настоящий революционер. В ответ на другие мои вопросы он рассказал, что валькрёзские монахи считают победу парижан огромным несчастьем. Они утверждают, что все погибло, и поговаривают о том, как бы им заделать проломы в монастырских стенах на случай, если придется защищаться от разбойников.

Я задала еще множество вопросов. Ответить на них Эмильен затруднялся – он знал немногим больше, чем я.

Стоял конец июля, и я была знакома с братцем уже почти целый год. Я говорила с ним без обиняков, как с любым нашим соседом, и не скрывала возмущения тем, что он не более осведомлен, чем мы.

– Чудно, право, – сказала ему я, – что вы так мало знаете! Положим, дома вас ничему не учили, но вы уже сколько времени в монастыре, так хоть бы читать толком научились, а то Жак говорит, что только по складам и умеете.

– Коли Жак и вовсе грамоте не знает, не ему об этом судить.

– Он сказал, что принес из города бумагу, а вы ее так прочитали, что ничего нельзя было понять.

– Может, он в этом сам виноват. Но мне не к чему лгать: читаю я и впрямь плохо, а пишу как курица лапой.

– А считать-то вы умеете?

– О! Вот уж нет, и никогда не научусь. К чему мне знать счет? У меня ведь никогда никакого имущества не будет.

– Вы могли бы в старости стать монастырским экономом, когда отец Фрюктюё помрет.

– Сохрани господь! Мне нравится раздавать, я ненавижу отказывать.

– Дедушка говорит, что вы из такой благородной семьи, что могли бы стать даже настоятелем.

^[9] Десятина – церковная десятина, то есть десятая часть дохода, взимавшаяся церковью с населения в Средние века в Западной Европе (с 779 г.). Так как высшие слои населения были свободны от налогов, то вся тяжесть десятины падала на крестьян. Была отменена во время французской революции (1789–1790).

^[10] Революция уже началась, а мы о ней понятия не имели. – Это маловероятно, так как правительство в связи с кризисным положением вынуждено было после 175-летнего перерыва созвать сословных представителей – Генеральные штаты, – и весной 1789 г. все население Франции участвовало в выборах, обсуждало кандидатуры депутатов, снабжало их наказами и т. д.

^[11] Бастилия – крепость и государственная тюрьма в Париже (построена в XIV в.), сделавшаяся символом французского абсолютизма. Взятие Бастилии восставшим народом (14 июля 1789 г.) явилось началом революции. С 1880 г. день взятия Бастилии – национальный праздник Франции.

– Надеюсь, что на это я никогда не буду способен.
– Почему вы такой? Ведь стыдно оставаться невеждой, когда можно стать человеком ученым. Были бы у меня средства, я бы всему научилась.
– Всему! И никак не меньше? А почему тебе хочется быть такой ученой?
– Не могу этого объяснить, не знаю, но вот хочу, и все; стоит мне увидеть исписанную бумагу, я прихожу в ярость, что ничего не могу в ней разобрать.
– Хочешь, я научу тебя читать?
– Да вы же сами не умеете!
– Немного умею, да и подучусь, тебя обучая.
– Вот сейчас вы это говорите, а завтра и не вспомните. Ветер у вас в голове.
– Что это, малышка Нанон, ты меня сегодня бранишь? Разве мы не друзья?
– Разумеется, друзья; но все-таки я часто думаю, можно ли быть в дружбе с человеком, которого не заботит ни он сам, ни другие люди.

Он посмотрел на меня, улыбаясь своей беспечной улыбкой, но не нашелся, что ответить, и ушел, глядя прямо перед собою, не всматриваясь в живую изгородь вдоль дороги, как обычно делал, стараясь найти гнезда; может быть, он думал о том, что я только что ему высказала.

Дня через два-три, когда я вместе с другими моими сверстниками была на пастбище, к нам прибежали в полном перепуге женщины, в том числе Мариотта, и велели идти домой.

– Что случилось?
– Домой, домой! Забирайте всю скотину, да поскорее!

Нас охватил страх. Каждый собрал свое маленькое стадо, и я тоже живо погнала домой Розетту, которая была не очень-то довольна, потому что не привыкла в этот час уходить с пастбища.

Придя домой, я увидела, что дедушка очень беспокоится обо мне. Он схватил меня за руку и втолкнул вместе с Розеттой в дом, потом велел Пьеру и Жаку хорошенько запереть и заставить дверь и окно. Хотя братья говорили, что опасность пока еще нам не грозит, но, видно, тоже были обеспокоены.

– Еще как грозит, – ответил им дедушка, когда все было сделано. – Ну вот, теперь мы все четверо вместе, давайте подумаем, что делать. Я предлагаю вот что. Пока светло, нам деваться некуда; тут уж все в руках Божьих; но когда стемнеет, надо перебираться в монастырь; каждый снесет туда, что сможет, вещи и еду.

– И вы думаете, – сказал Жак, – что монахи вот так и примут к себе весь приход?

– Это же их обязанность. Мы приписаны к ним, наш долг платить десятину и повиноваться им, а их долг – давать нам убежище и защищать нас.

Пьер, напуганный больше, чем старший брат, оказался на этот раз одного мнения с дедушкой. Монастырь окружен крепостными стенами, а открытые места они смогут защитить с помощью нескольких крепких парней. Жак, продолжая утверждать, что все это – бесполезная затея, принялся тем не менее разбирать наши жалкие ложа; я уложила кухонный скарб, четыре миски и два глиняных горшка. Узел с бельем был не слишком велик, с платьем – тоже.

«Лишь бы только монахи согласились принять Розетту», – твердила я сама себе.

Я механически выполняла все, что мне приказывали, и ждала, что же будет дальше, – ведь я ничего не знала и ни о чем не осмеливалась спрашивать! Наконец я поняла, что разбойники вот-вот нагрянут к нам, что людей они убивают, а дома жгут^[12]. И тут я расплакалась и не

[12] ...разбойники вот-вот нагрянут к нам, что людей они убивают, а дома жгут. – Жорж Санд в общем верно, хотя несколько односторонне говорит о так называемых днях великого страха, связанных с крестьянскими волнениями, охватившими Францию после взятия Бастилии (июль – август 1789 г.). Поднявшиеся крестьяне уничтожали феодальные документы, жгли поместья, отказывались нести повинности, делили скот и хлеб между собой, выбирали крестьянские комитеты и т. д. Эти выступления вызвали панику («великий страх») среди дворян и породили различные слухи о «разбойниках». Буржуазные власти подавляли движение, стремясь защитить помещиков. Однако Учредительное собрание вынуждено было сделать

столько оттого, что боялась расстаться с жизнью – у меня еще не составилось отчетливого представления о смерти, – сколько оттого, что жалела нашу бедную, обреченную огню хижину, которая была так мне мила и дорога, словно она и в самом деле была нашей. И, надо сказать, и дедушка и его внуки оказались ничуть не умнее меня. Они не столько думали о грозившей им опасности, сколько горько сетовали об утрате своих нищенских пожитков.

Весь день мы провели в потемках, заполнивших запертый дом, об ужине и помину не было. Чтобы сварить репу, надо было развести огонь, а дедушка этому воспротивился, утверждая, что дымок над крышей нас выдаст. Если разбойники явятся, они решат, что из деревни все ушли и дома стоят пустые. Тогда они не задержатся здесь и сразу побегут к монастырю.

Свечерело. Жак с дедушкой решили спуститься вниз, постучать в монастырские ворота; но ворота были на запоре весь день, были они заперты и вечером; на стук никто не отозвался. Никто даже не вышел переговорить с ними через маленькое оконце. Казалось, монастырь обезлюдел.

– Теперь сами видите, – вернувшись, сказал Жак, – что они никого не хотят принять. Монахи знают, что их здесь не любят. Своих-то прихожан они боятся не меньше, чем разбойников.

– А по-моему, – объяснил дедушка, – они спрятались в подземелья, а оттуда им, ясное дело, никакого стука не услышать.

– Меня удивляет, – сказал Пьер, – что братец запрятался с ними вместе. Он-то ведь не робкого десятка, и мне думалось, что он или придет защитить нас, или проведет в монастырь.

– Твой братец такой же плут и трус, как вся монастырская братия, – сказал Жак, не подумав даже, что сам он тоже изрядно перетрусил.

И тут дедушке пришла в голову мысль узнать, нет ли в округе каких-нибудь новостей и не собираются ли соседние крестьяне принять меры против грозившей нам всем опасности. Он снова ушел вместе с Жаком, босиком, укрываясь в тени кустов, словно они-то и были разбойниками, замыслившими худое дело.

Мы с Пьером остались одни, получив наказ сидеть на пороге, быть настороже и при малейшем подозрительном шуме спастись бегством.

Погода стояла чудесная. Небо было усыпано яркими звездами, воздух напоен ароматом, и, как мы ни напрягали слух, до нас не доносилось ни единого звука, наводившего страх или внушавшего надежду. Во всех домах, разбросанных вдоль ущелья и далеко отстоящих один от другого, жители поступили как мы: заложили двери, загасили огонь и разговаривали вполголоса. Было всего девять часов, а тишина стояла как глухой ночью. Между тем никто в ту ночь не спал. Все словно отупели от страха и даже боялись дышать. Этот панический ужас остался в памяти моих земляков как самое примечательное в революции. Этот год и сейчас называют годом великого страха.

Ничто не шевелилось под высокими каштанами, укрывавшими нас в своей тени. Спокойствие природы снизошло и на наши души, и мы принялись потихонечку болтать. Голода мы не чувствовали, а вот сон нас все же сморил. Растянувшись на земле, Пьер начал рассказывать мне о звездах и объяснять, что они не остаются всякий час на том же месте, но меняют свое положение вместе с переменой времен года, а кончил тем, что заснул глубоким сном.

Мне было жаль будить его. Я понадеялась, что смогу караулить и одна, но уже через мгновение моей караульной службе пришел конец.

Я проснулась оттого, что чья-то нога задела меня в потемках: открыв глаза, я увидела серый призрак, склонившийся надо мной. Испугаться я не успела: у призрака был голос брата.

– Что ты тут делаешь, Нанон? – сказал призрак. – Почему ты спишь не в доме, а на голой земле? Я чуть было не наступил на тебя.

– Пришли разбойники? – спросила я, поднимаясь с земли.

– Разбойники? Никаких разбойников нету. Бедняжка Нанетта, значит, и ты в них поветрила?

– Ну, конечно! А вы-то как узнали, что их нету?

– Так ведь монахи смеются и говорят, что этих разбойников кто-то ловко придумал, чтобы отбить у крестьян охоту к революции.

– Значит, все это обман! Ну, раз так, пойду-ка я загоню Розетту и сготовлю ужин, чтобы дедушка мог поесть, когда вернется.

– Он ушел?

– Ну да, пошел узнать, что решил народ: прятаться или защищаться.

– Все двери заперты, и никто не захочет ему открыть. Со мной так и было. Как только я понял, что бояться нечего, я выбрался из монастыря через пролом в стене, хотел успокоить здешних своих друзей, но пока только с тобой и смог поговорить. Ты что же, совсем одна?

– Нет, вон Пьер; он спит, будто у себя в постели. Вы разве его не видите?

– Верно, верно, вот только теперь разглядел. Ну, коли он спокойно спит, не будем его трогать. Пойдем, я помогу тебе загнать овцу и разжечь огонь.

Он и в самом деле помог мне, и мы разговаривали, ни на минуту не переставая заниматься делом.

Я спросила, в какие дома он стучался, прежде чем пришел к нам. Он перечислил с полдюжины.

– А о нас, – сказала я ему, – о нас вы подумали только напоследок? Открой вам кто-нибудь дверь, вы так бы и остались рассказывать там ваши новости?

– Нет, я хотел предупредить всех. Ты сейчас несправедлива ко мне, Нанон. Конечно, я шел к вам, и я думаю о тебе куда чаще, чем ты предполагаешь. Я очень много думал о тебе с того самого дня, когда ты так резко говорила со мной.

– Вы тогда рассердились на меня.

– Нет, я рассердился на самого себя. Люди плохо обо мне думают, и по заслугам, я это понял и дал себе слово выучиться всему, чему только монахи сумеют меня выучить.

– В добрый час! Тогда вы и меня научите?

– Обязательно научу.

Огонь ярко пылал, и при его свете Эмильен увидел спинки и доски наших кроватей и посреди комнаты – сваленные в кучу соломенные тюфяки.

– А где вы ляжете ночью? – спросил он у меня.

– Я пойду спать к Розетте, – ответила я, – ведь теперь я никого не боюсь. Моим братьям ничего не стоит проспать ночь под звездами, значит, остается только мой бедный старенький дедушка, который наверняка очень устанет. Не знаю, хватит ли у меня сил, а хотелось бы поставить ему кровать: ведь он так сладко заснет, когда узнает, что никакие разбойники на нас не нападут.

– Если у тебя не хватит сил, так я помогу, я ведь сильный!

И он взялся за дело. В один миг он заново собрал и скотил кровать старика Жана и мою кроватку. Я расставила на столе посуду, и когда дедушка с Жаком вернулись, в мисках уже дымила похлебка из репы. Они ни до кого не достучались и всю дорогу бежали бегом, потому что увидели дым над нашей крышей и решили, что дом горит. Им чудилось, что мы все уже погибли: и Пьер, и Розетта, и я.

Дедушка и Жак были счастливы, что ужин готов и что теперь можно со спокойной душой лечь спать; в первую минуту они не знали, как и благодарить братца. Но за столом дедушка вдруг снова помрачнел. Когда братец ушел, он сказал, что тот еще совсем несмышлениш, и очень может статься, что не понял, о чем говорили монахи; разве был бы весь народ в великом

страхе, когда бы ему не грозила великая опасность? Он наотрез отказался лечь и, пока мы спали, бодрствовал, усевшись на каменную скамью у очага.

Утром нашему удивлению не было конца – ведь все проснулись целыми и невредимыми. Парни из нашего прихода залезли на самые высокие деревья, росшие у входа в ущелье, и увидели вдали, сквозь утренний туман, людей, идущих строем. Мигом все кинулись по домам, и снова пошли разговоры о том, что надо бы все бросить на произвол судьбы, а самим поспрятаться в лесах и горных расщелинах. Но скоро к нам прибыли гонцы, – сперва их даже не хотели слушать, потому что в первую минуту приняли за врагов и намеревались побить камнями. А между тем то были люди из соседних приходов, и когда наши наконец их узнали, они сгрудились вокруг них тесным кольцом. Гонцы сообщили, что как только до их мест дошла весть о приближении разбойников, а в ее правдивости не сомневались ни в нашем приходе, ни в соседних, все уговорились сообща защищаться от врагов. Вооружившись чем попало, составили отряды, которые должны были прочесывать местность и задерживать всех подозрительных. Они полагали, что и мы сразу же возьмемся за оружие и присоединимся к ним.

Но наши пальцем не желали пошевелить, твердили, что у них никакого оружия нет, к тому же даже сами монахи не верят в существование этих разбойников – ведь братец, вертевшийся тут же, постарался, не выдавая монахов, рассказать людям правду. Но верзила Репуса из Фудрасы и кривой из Бажаду, люди горячие, стали насмехаться над нами и даже стыдить нас за наше долготерпение.

– Сразу видать, что вы монашье отродье, – говорили они, – такие же хитрющие да трусливые. Ваши подлые хозяева хотят отдать наш край разбойникам на потраву, им невыгодно, чтоб люди оказывали сопротивление, а вы, будь у вас хоть малая толика отваги, давно бы раздобыли себе оружие. В монастыре достало бы и на вас и на соседей. Там и разных припасов на случай осады достаточно. Но раз вы не хотите драться, то мы вернемся к нашим товарищам и расскажем, какие вы трусы, потом приступом возьмем монастырь и оружие заберем, потому как вам оно ни к чему, вы все равно в руках его держать не умеете.

Слова эти упали в толпу, как искра в солому. Наши крестьяне испугались соседей больше, чем разбойников, поднялся шум и крик, и люди порешили, что лучше самим быть себе хозяевами и уладить все промеж собой. Стали созывать всех прихожан и собрались на монастырской площади – то был просто склон, кочковатый и густо поросший травой; посередине площади был чудотворный источник, украшенный изображением Богоматери.

Верзила Репуса, гордясь тем, что будто бы пробудил в нас храбрость, потребовал первым делом застращать монахов и для этого разбить изображение Божьей Матери. В толпе среди других был и дедушка, и это предложение страшно его рассердило. Он с самого начала стоял на том, что мы должны требовать убежища в монастыре и укрываться за его стенами, но не мог допустить и мысли об осквернении святыни и обещал – он, такой старенький! – что разобьет голову лопатой первому, кто решится на подобное безобразие. К нему прислушались, потому что он был самый старый в нашем приходе и самый уважаемый.

В это время братец, поняв суть происходящего, вернулся в монастырь через один из проломов в стене: он их знал наперечет, как никто другой. Обнаружив, что монахи страшно напуганы и только и думают, как бы им получше забаррикадироваться, братец постарался объяснить им, что их собственные крестьяне меньше на них злобятся, нежели крестьяне из других приходов, и что самым разумным было бы как раз им-то и довериться.

IV

И вот монастырские ворота распахнулись и впустили с десятков наиболее уважаемых в приходе крестьян; их провели по всем залам, дабы они убедились, что в монастыре ни пушек, ни ружей, ни сабель нет; но малыш Ангийу, которому как-то случилось помогать каменщикам,

когда те перекладывали погреб, сказал, что в этом самом погребе он видел гору оружия, – и правда, вскоре там нашли груды старых, давно вышедших из употребления аркебузов, мушкетов с колесцом времен религиозных войн^[13] и ржавых бердышей без рукоятей. Все это забрали и вынесли на площадь, где каждый взял себе то, что ему пришлось по вкусу или по силе; аркебузы и мушкеты уже ни на что не годились, но наконечники бердышей были целы, и все принялись их чистить и рубить для них на монастырской лесосеке новые рукояти. Только этот ущерб и был нанесен монастырю. Монахи пообещали прихожанам убежище в случае опасности, показали, где разместиться каждой семье. Пришлых отправили восвояси; никто и не подумал предложить соседям воспользоваться покровительством монахов. Стоило чужакам уйти, как доброе согласие между крестьянами и монахами восстановилось, но оружие прихожане так и не возвратили, посмеиваясь и переговариваясь о том, что, дескать, если все это придумано монахами, чтобы их напугать, затея не очень-то удалась: они вооружили крестьян, и теперь, в случае чего, крестьяне обратят против них их же оружие.

Три дня и три ночи все пребывали в страшном волнении: выставляли караулы, совершали обходы, по очереди бодрствовали ночами, договаривались о совместных действиях, когда случалось повстречать отряд из других мест. Этот великий страх, который был не более как выдумкой, – только вот чьей неизвестно, думаю, что этого так никогда и не узнали, – не стал в дальнейшем поводом для шуток, как того можно было бы ожидать. Наши крестьяне за три дня постарели на три года. Им пришлось вылезти из своих нор, сговориться между собой, узнать то, о чем говорили не только за пределами нашего ущелья, но даже и в городах; они стали понимать, что такое Бастилия, война, голод, король и Национальное собрание^[14]. Как и все прочие, я восприняла это в самых общих чертах, и мне казалось, что мой неразвитый ум, взращенный в клетке, обретает крылья и воспаряет в далекий простор. Мы испытали страх, и это придало нам мужества. Впрочем, на третий день, когда народ стал успокаиваться, случилась еще одна тревога. Мимо нас с криком «К оружию!» промчались галопом в соседние городки гонцы, разнося весть о том, что разбойники уничтожают урожай и убивают население. На этот раз дедушка вооружился косой и ушел вместе с внуками навстречу врагу, поручив меня заботам Мариотты и торжественно сказав на прощанье:

– Мы идем сражаться, и ежели нас разобьют, не ждите, пока мы явимся, а по пятам за нами и враги. Бросайте скот, забирайте детей и спасайтесь – разбойники никого не милуют.

Мариотта кричала, плакала, потом кинулась искать укромное местечко для своих пожитков. Что до меня, так я была очень взбудоражена и если еще верила в разбойников, то уж вовсе их не страшилась, говоря себе, что если дедушка с братьями погибнут, незачем жить и мне; предоставив Мариотте заниматься ее делами, я отвела Розетту на пастбище. Неужто же, спасая ее от разбойников, позволить ей умереть с голоду?

Желание узнать новости завело меня далеко от дома, на высокое лесистое плоскогорье, но и оттуда я ничего не разглядела, потому что крестьянские отряды либо сидели в засаде, либо осторожно крались вдоль оврагов, пробираясь сквозь заросли дрока. Всматриваясь в даль, я силилась хоть что-нибудь увидеть между деревьями, когда от этого занятия меня отвлек какой-

^[13] ...времен религиозных войн... – Религиозные войны во Франции между католиками и протестантами (гугенотами) происходили во второй половине XVI в. Кровавая Варфоломеевская ночь (24 августа 1572 г.) – один из эпизодов этой борьбы. В эту ночь в Париже произошла массовая резня гугенотов, повлекшая за собою новую вспышку войны. Под религиозной оболочкой этих войн скрывалась сложная борьба различных социальных сил. Религиозные войны закончились в 1598 г. изданием королем Генрихом IV (1589–1610) так называемого Нантского эдикта, урегулировавшего положение гугенотов во Франции.

^[14] ...стали понимать, что такое... Национальное собрание. – В романе часто наблюдаются хронологические смещения. Генеральные штаты провозгласили себя (17 июня 1789 г.) Национальным собранием, то есть не сословным, а общенациональным институтом. 9 июля 1789 г. оно стало именоваться Национальным учредительным собранием. В апреле 1792 г. началась война, то есть тогда, когда Учредительное собрание (в соответствии с конституцией 1791 г.) было уже заменено Законодательным собранием.

то человек, высунувшийся из кустов: то был братец, который преспокойно охотился и выслеживал лисиц, и война с разбойниками его нимало не заботила.

– А я-то думала, – сказала я, – что вы ушли вместе со всеми. Ну, по крайней мере хоть бы поглядели, не грозит ли им опасность.

– Я знаю, – ответил он, – что опасность грозит только аристократам и высшему духовенству, а они не признают меня своим; я в этом мире живу сам по себе.

– Вы сердите меня такими разговорами. Не знаю, то ли презирать вас, то ли жалеть.

– Ни того ни другого, мой дружок, делать не надо. Пусть бы на меня возложили какие-нибудь обязанности, я бы их выполнил, но я не вижу, какие обязанности у монаха, если не считать за обязанность обрастание жиром. Монахи, видишь ли, сослужили службу в старые времена; но с тех пор как стали жить в богатстве и холе, они мало чего стоят в глазах людей и Господа Бога нашего.

– Так не идите в монахи!

– Легко сказать; а кто примет меня в дом, кто станет кормить? Ведь моя семья, стоит мне воспротивиться, откажется от меня и выгонит вон!

– Ну и что же! Будете работать! Это тяжело, но Пьер с Жаком ходят на поденщину, и они счастливее вас.

– Это не совсем так. Они ни о чем не думают, а я люблю сам обо всем поразмыслить. Знаю, мне многому еще надо научиться, чтобы правильно рассуждать, и я научусь. Ты справедливо отчитала меня: стыдно быть лентяем. Ну, так смотри, я гуляю теперь с книжкой в руках и частенько в нее заглядываю.

– А меня вы станете учить? Или уже позабыли о своем обещании?

– Нет, помню. Хочешь, начнем сейчас?

– Хочу.

Он преподавал мне первый урок, усевшись подле меня на папоротнике под этим огромным небом, которое немного ослепляло меня, потому что мне было привычнее видеть узкую полоску его над валькрёзским ущельем. Я так старалась ничего не упустить из объяснений братца, что у меня заболела голова, но из самолюбия я ни словом об этом не обмолвилась; меня охватила гордость, когда я почувствовала, что могу учиться, ибо братец удивлялся быстроте, с которой я все схватывала. Он говорил, что за час я запомнила больше, чем он за неделю.

– Может быть, это оттого, – сказала я, – что вас плохо учили?

– А может быть, это оттого, – ответил он, – что меня старались отвадить от учения.

Потом он убил зайца и принес его мне.

– Твоему дедушке на ужин, – сказал он. – Ты не смеешь отказываться.

– Но это ведь монастырская дичь?

– Значит, и моя, в таком случае я могу ею распоряжаться.

– Большое спасибо, но мне бы хотелось кое-чего и для себя, только я ведь не лакомка.

– Чего же ты хочешь?

– Мне бы хотелось выучить сегодня все буквы. Я уже отдохнула, вы вроде бы тоже не очень устали...

– Ну что ж, давай, – согласился он.

И продолжал урок.

Солнце опускалось, голова у меня уже не болела. В тот день я выучила всю азбуку и, возвращаясь домой, радовалась, слушая, как поют дрозды и как грохочет река. Розетта очень важно шла перед нами, а братец держал меня за руку. Солнце заходило справа от нас, каштаны и буки в лесу пылали, как в огне. Луга в закатном свете были совсем красные, а когда нашим взорам открылась река, она показалась нам золотой. Тогда я в первый раз обратила внимание на такие вещи, и я сказала братцу, что мне сегодня все кажется чудным.

– Что ты этим хочешь сказать?

– Хочу сказать, что солнце словно веселый огонь, а вода в реке словно статуя непорочной девы в монастыре, вся светится; я еще ни разу такого не видела.

– Так бывает всякий раз, когда солнце садится в ясную погоду.

– А дедушка Жан говорит, что красное небо – примета войны.

– Увы, есть много других примет войны, глупышка Нанон!

Я не стала спрашивать, что это за приметы, – была погружена в свои мысли; мои ослепленные глаза видели в лучах заходящего солнца красные и синие буквы.

«Нет ли на небе приметы, – подумала я, – которая сказала бы мне, научусь ли я читать?»

Дрозд пел не умолкая: казалось, будто он перелетает с куста на куст вслед за нами. Мне пришло в голову, что это сам Господь беседует со мной, ободряет меня. Я спросила моего дружка, понимает ли он, о чем поют птицы.

– Конечно, – отвечал он, – очень хорошо понимаю.

– Ну а дрозд? Что говорит дрозд?

– Дрозд говорит, что у него есть крылья, что он счастлив и что Господь добр и любит пташек!

Вот так мы болтали, спускаясь ущельем, в то время как вся Франция уже взялась за оружие и только того и ждала, чтобы ринуться в бой.

К ночи вернулись мои домашние. Я подала им зайца, и они похвалили мою стряпню. Разбойников наши приходские так и не увидели и стали поговаривать, что либо их вовсе нет, либо что те не осмеливаются прийти в наши края. На следующий день все еще держались настороженно, но потом взялись за работу. Женщины, прятавшие своих детей, вернулись вместе с ними; выкопали из земли белье и ту малость денег, которую зарыли; воцарилось прежнее спокойствие. Все были довольны тем, как братец, сумев вовремя поговорить с монахами, предотвратил ссору прихожан с ними: полагая, что монахи еще долго будут господами, крестьяне не хотели навлекать на себя их гнев. Но те гнева не показывали. Тогда прихожане решили, что братец их урезонил. Припомнили, что он с самого начала утверждал, что никакие разбойники на них не нападут, и стали его уважать куда больше прежнего.

Всякий день я встречала его на дороге, и он учил меня читать тут же на пастбище, и выучил так быстро и хорошо, что народ только диву давался, а обо мне стали говорить в приходе как о каком-то маленьком чуде. Я была довольна собою, но не хвалилась перед другими. Кое-чему выучила я и Пьера, у которого желания учиться было хоть отбавляй, но голова варила с трудом. Учила я и моих однолеток, которые старались отблагодарить меня всякими подарками, и дедушка предсказывал мне, что я стану приходской учительницей, причем таким тоном, будто предсказывал, что я стану великой королевой.

Несмотря на то что и у нас был организован отряд национальной гвардии^[15], крестьяне снова погрузились в привычную безучастность, в повседневные заботы. Зима прошла спокойно. Страшились холодов, напугавших нас минувшей зимой, и так как все очень осмелели, то в декабре стали рубить на дрова монастырский лес; кое у кого на это было разрешение, а кое у кого и не было. Лес не воровали, его свозили в монастырский сарай, приговаривая, что теперь у монахов не будет повода жаловаться, как в прошлом году, будто они сидят без дров. Бедняги монахи могли бы жестоко наказать нас, ибо значительная часть наших прихожан до сих пор была приписана к ним. Мы слышали, что закон этот был отменен еще в августе^[16] и

[15] *Национальная гвардия* – гражданское ополчение, созданное после взятия Бастилии в Париже и в других городах Франции. Строилась по территориальному принципу. На протяжении XIX в. национальная гвардия распускалась, реорганизовывалась и окончательно была упразднена после подавления Парижской коммуны 1871 г.

[16] *...закон этот был отменен еще в августе...* – Имеются в виду постановления Учредительного собрания (4–11 августа 1789 г.) относительно феодальных повинностей. Несмотря на декларацию о полной отмене феодального строя, без выкупа уничтожены были только повинности, связанные с личной крепостной зависимостью, остальные, связанные с землей и наиболее обременительные для крестьян, были отменены за выкуп, размеры которого и порядок установили лишь позднее.

что отмена касалась и церковных владений, но так как указ по-прежнему не обнародовали, а монахи делали вид, будто слухом про него не слыхали, мы порешили, что то был ложный слух, такой же вздорный, как и слух про разбойников. Однажды в марте тысяча семьсот девяностого года к нам пришел братец и сказал:

– Друзья мои, вы – свободные люди! Наконец-то решились привести в исполнение и опубликовать прошлогодний указ, по которому во всей Франции отменяется рабство^[17]. Теперь вам обязаны платить за ваш труд, и вы сами будете назначать цену. Больше нет ни десятины, ни оброка, ни барщины; монастырь более не господин над вами, не заимодавец, а скоро он перестанет быть и владельцем этих земель.

Жак улыбался, не веря словам братца; Пьер качал головой, ничего не понимая; но дедушка все отлично понял, и мне показалось, что он вот-вот потеряет сознание, словно ему нанесли удар, для его возраста непосильный. Увидев, как он побледнел, братец, вообразивший, будто у дедушки стеснило дыхание от радости, принялся уверять его, что новость эта верная – нынче утром в монастырь приехали законники и объявили монахам, что их имущество переходит в собственность государства^[18], – правда, не сию минуту, но по прошествии времени, нужного для того, чтобы государство в качестве возмещения назначило им ренту.

Дедушка не промолвил ни слова, но я-то хорошо знала его и сразу поняла, что он глубоко опечален и не желает ничего больше слышать о новых порядках.

Наконец он овладел собой и сказал:

– Это, дети, конец всему. Какая без господ жизнь! Не подумайте, что мне были милы монахи, они не выполняли своего долга по отношению к нам; но мы были вправе требовать у них помощи, и в беде они были бы вынуждены прийти к нам на помощь – да вы сами могли в этом убедиться: когда заварилась вся эта каша с разбойниками, они не посмели отказать нам в оружии. А теперь кто будет заправлять в монастыре? Тот, кто его купит, нас не знает и ничего нам не должен. Ежели разбойники в самом деле к нам явятся, где сможем мы укрыться? Мы брошены на произвол судьбы и должны рассчитывать лишь на самих себя.

– Да ведь это самое для нас лучшее, – сказал Жак. – Ежели все это правда, нам надобно радоваться, потому что теперь мы обрели мужество, которое раньше нам не дозволялось, и пики, которых прежде негде было взять.

– И к тому же, – вновь заговорил братец, обращаясь к дедушке, – из ваших речей, дядюшка Жан, видно, что вы не очень хорошо знаете то, о чем говорите! Вы не можете заставить монахов защищать вас, нет у вас таких прав. Не сегодня, так завтра они все равно бросят вас на произвол судьбы, либо из страха, либо из слабости, и вы будете принуждены взбунтоваться и выступить против них. Новый закон спасает вас от этой беды.

Казалось, дедушка должен сдаться на столь убедительные доводы, но он был полон сострадания к монахам и печалился о ничтожестве, в которое они скоро впадут. Братец объяснил ему, что они на этом скорее выиграют, ибо существует проект, по которому имущество, изъятое у епископов и высшего духовенства, пойдет на возмещение потерь, понесенных монашескими орденами, и на увеличение содержания сельских священников.

– Я понимаю, – отвечал дедушка, – им дадут хорошие деньги, дадут больше, чем та малость, которую они выручали при своем плохом хозяйствовании и собирая оброк, который им так нерадиво платили; но разве стыд от того, что они уже больше не владельцы земли и

^[17] ...решились привести в исполнение и опубликовать прошлогодний указ, по которому во всей Франции отменяется рабство. – Законом 15–20 марта 1790 г. была подтверждена отмена феодального строя, провозглашенная Учредительным собранием в августе 1789 г., и перечислены феодальные права, подлежащие выкупу.

^[18] ...объявили монахам, что их имущество переходит в собственность государства... – По закону 2 ноября 1789 г. во Франции были конфискованы земельные владения церкви. Вместе с конфискованными позднее (9–12 февраля 1792 г.) землями эмигрантов и имуществом казненных (октябрь 1793 г.) эти земельные владения составили так называемый фонд национальных имуществ, который был пущен в продажу.

имения, не хозяева здешних мест, ничего не стоит? Я так считаю: тот, кто владеет землею, куда выше того, у кого много денег.

Днем дедушка, которого монахи очень отличали с того времени, как он спас статую Богоматери у чудесного источника – она приносила им много даров и денег, – решил пойти и спросить у самих монахов, правда ли это, или выдумка. Он спустился в монастырь и застал там большое смятение. Едва судейские приехали и вручили копию указа, как с господином приором^[19] случился удар. Ночью он преставился, и дедушка очень горевал о нем. Старых людей всегда глубоко трогают известия о кончине их сверстников. Дедушке стало как-то не по себе, он перестал есть и начал относиться с полным безразличием ко всему, о чем только шла речь кругом. А весь приход ликовал, особенно молодежь. Их сердца наполнились не столько счастьем освобождения – еще никому не ведомо было, как повернутся дела, – сколько гордостью от сознания того, что они – свободные люди, – так по крайней мере говорил братец. Мой бедный дедушка слишком долго был рабом и уже не мог вообразить себе другой жизненный уклад, другое обхождение. Все это до того поразило и взволновало его, что он умер неделю спустя после господина приора. Все о нем очень горевали, как и подобает горевать о честном и терпеливом человеке, который много в жизни потрудился и никогда не жаловался на свою долю. Трое суток мои двоюродные братья от всей души оплакивали его, а потом, покорные Господней воле, вновь взялись за работу.

Но у меня не хватало разума, чтобы так быстро утешиться, и скорбь моя была такой долгой, что все удивлялись и даже стали порицать меня. Наша Мариотта бранила меня, видя, как я без конца обливаюсь слезами, когда пасу овецку, и какая я стала безразличная и к ней и ко всему на свете. Она говорила мне, что я хочу быть не как все, что удел людей вроде нас – страдание, что мы должны привыкнуть стойко все переносить, а вовсе не нянчиться с нашими горестями.

– Что поделаешь, – говорила я ей, – ведь я никогда не знала горя. Я вовсе не неженка, ни голод, ни холод меня не страшат; я почти не устаю и смело могу сказать, что никогда не жаловалась на то, от чего стонут и плачут другие, но мне никогда не приходило в голову, что дедушка может умереть. Я привыкла к тому, что он старый. Я так хорошо за ним ухаживала, что он, мне казалось, был доволен своей жизнью. Он почти не разговаривал со мною, но всегда мне улыбался. Никогда не попрекал меня тем, что я свалилась ему на голову, хотя столько работал, чтобы прокормить меня! Я не могу сдержать слез, когда о нем думаю; должно быть, это сильнее меня, потому что я плачу и во сне и просыпаюсь с мокрым от слез лицом.

Только один братец не выказывал недовольства моей долгой скорбью. Напротив, говоря, что я совсем не такая, как другие, он добавлял, что я лучше их и что за это он еще больше меня уважает.

– Но, быть может, это обернется несчастьем для тебя, – говорил он. – У тебя сердце широко открыто для дружбы, в ответ тебе будут давать меньше, чем ты заслуживаешь.

Каждый день он либо появлялся у нас, либо ждал меня на пастбище, куда я ходила почти всегда одна; веселость моих одногодков печалила меня, а им моя печаль наскучивала. Подле Эмильена я старалась от нее отвлечься, ведь он выказывал столько предупредительности, желая меня утешить! Я горячо привязалась к нему: мне чудилось, что он заменяет мне дедушку, моего утраченного друга, и хотя я еще не могла как следует понять мысли и характер братца, все же знала, что в одном можно не сомневаться – в великой доброте его сердца.

^[19] Приор – настоятель католического монастыря, или старший после аббата (настоятеля) член монашеской общины.

V

Я по-прежнему жила вместе с братьями и со всем тщанием вела их бедное хозяйство. Они частенько задерживались на работе вдали от дома, там и ночевали, поэтому Мариотта, не желая оставлять меня одну, перенесла мою постель к себе в дом. Я не была ей в тягость, ибо она тоже жила одиноко, давно овдовела, дети ее обзавелись семьями и разъехались кто куда.

Мариотта была женщиной с понятием, как говорили у нас, и меня она учила тому же, а значило это, что, будучи очень бедной, она умела кое-как выкручиваться, потому что неустанно работала, ничего не пропускала мимо рук и из всего извлекала пользу. Она была из тех, кто, не имея гроша за душой, всегда ходят опрятные и будто бы ни в чем не терпят нужды. А наши женщины, даже самые зажиточные, в большинстве своем либо не умели пользоваться своим имуществом, либо терпели убытки из-за собственной нерасторопности: бывало, им в руки плывет, а они и то удержать не умеют.

Мало-помалу я перенимала от нее эту мудрость, а еще училась у братца. К тому времени я уже умела немного писать и считать. Соседи глядели на меня как на какое-то диво и недоумевали, с чего бы это братец, который любил растрачивать время зазря, занимаясь целые дни охотой или рыбной ловлей, учит меня с таким постоянством и рвением. Та малость знаний, которую я переняла от него, была мне огромным подарком, ибо теперь у меня были ученики, я давала им уроки зимою на посиделках, а когда моим землякам надо было прочесть какую-нибудь бумагу, они приходили ко мне и рассчитывались потом съестным. Разумеется, братец, ни в чем никому не отказывавший, вполне заменил бы им меня, но крестьяне – народ недоверчивый. Братец жил в монастыре, он был дворянин по рождению, и они не доверяли ему, как мне, своей землячке, рожденной от их же корня.

Монастырские земли были назначены к продаже; но несмотря на то что были люди, которые очень охотно купили бы тот или иной участок, никто на это не отваживался. Боялись, как бы действие закона не было кратковременным. Монахи говорили посмеиваясь: «Это еще бабушка надвое сказала!» К тому же и государство, нуждаясь в деньгах, предоставило кредит только на три месяца. Для таких людей, как мы, крестьяне, этого было недостаточно, а спекулянты, стремившиеся купить имение, чтобы тут же его продать с барышом, находили, что риск еще слишком велик.

Но внезапно все поверили в совершившееся; не могу точно сказать, когда это произошло, только помню, что после празднования четырнадцатого июля, годовщины взятия Бастилии. Вся Франция праздновала этот день, его называли праздником Федерации^[20]. Братец объяснил мне, что люди больше всего радуются тому, что теперь для всех французов один закон и что с этого времени у нас у всех одна родина. Он был очень счастлив, никогда прежде я не видала его таким; я восприняла его радость всем сердцем, несмотря на то, что еще слишком мало знала и понимала, чтобы судить о столь великом событии.

Для нашего глухого, затерянного в горах прихода это был удивительнейший праздник. Тут надо сказать, что с тех пор, как монахов сменили муниципальные чиновники, приход стал называться коммуной^[21]. Монахи ни во что не вмешивались и – то ли по глупости, то ли из

^[20] Праздник Федерации – революционное празднество, которое впервые состоялось в Париже 14 июля 1790 г., в первую годовщину взятия Бастилии. Праздник происходил на Марсовом поле, где король, Учредительное собрание, депутаты департаментов и национальная гвардия принесли присягу в «вечной верности нации, закону и королю». Празднество символизировало становление национального единства Франции.

^[21] ...приход стал называться коммуной. – Конституция 1791 г. (принята Учредительным собранием 3 сентября 1791 г.) установила новое административное деление страны. Франция разделилась на 83 департамента, которые, в свою очередь, делились на дистрикты, кантоны и коммуны (общины). Этим уничтожалось старое, отжившее административное деление феодальной эпохи.

хитрости, кто их знает, – утверждали, будто довольны всем случившимся. Среди них было двое молодых, – правда, не таких молодых, как братец, они уже успели принять постриг, – которые, казалось, очень тяготились монашеской жизнью и страстно желали уйти из монастыря с тех самых пор, как узнали, что теперь это для них возможно. В день праздника они заставили старцев открыть монастырские ворота муниципалитету и жителям, чтобы те могли отпраздновать день Федерации на огромном монастырском дворе, окруженном строениями, где можно было укрыться в случае грозы. Старцы согласились, полагая, что ежели они откажут, поднимется ропот и все будут ими недовольны. Они отслужили мессу, прося Господа благословить объединение Франции, и даже предложили внести посильную лепту в пиршество, которое устраивалось на дворе. Скучный пир, где на десерт ели хлеб, как в богатых домах едят пирожное! Каждый принес с собой мучную похлебку и овощи. Чтобы не остаться совсем без вина, устроили складчину, вслед за водою и терновым сидром выпили и его. В эту минуту спали покровы с сооружения, воздвигнутого в тайне, специально для празднества, братцем вместе с Жаком и еще несколькими нашими парнями. О том, что к празднику готовят какой-то сюрприз, знали все, потому что парни работали на площади три дня; все видели огромную кучу веток, срезанных вместе с листьями, что-то укрывавшую. Едва принесли вино, как раздался залп из десяти или двенадцати ружей – изо всех, сколько их было в коммуне, парни разобрали хворост и ветки, и глазам присутствующих открылось некое подобие алтаря из дерна с красиво сплетенным из хлебных колосьев крестом. У креста лежали самые лучшие цветы и плоды, какие только можно было раздобыть; братец бесцеремонно нарвал их в монастырском цветнике и снял со шпалер. Были здесь и редкостные овощи того же происхождения, были и разные другие дары, попроще: снопы гречихи, ветки каштанов с еще незрелыми каштанчиками, ветки терна, боярышника, шелковицы – все то, что земля родит сама, по своей воле, на потребу крестьянской детворе и малым птицам. Вниз, к подножию алтаря, положили соху, лопату, кирку, серп, косу, топор, колесо от повозки, цепи, веревки, ярмо, подковы, сбрую, грабли, мотыги и, наконец, – пару цыплят, годовалого ягненка, пару голубей и гнездышки дроздов, славок, воробьев, а в гнездах были яйца либо птенцы.

Мне могут заметить, что трофей этот был уж больно незатейлив; но он был так хорошо сложен, каждый предмет был так красиво обрамлен зеленым мхом, водяными лилиями и осокой, что произвел на всех большое впечатление, мне же показалось, что ничего чудеснее я за всю свою жизнь не видывала. И даже нынче, когда я состарилась, все это вовсе не кажется мне смешным. Крестьянину, который с безразличием глядит на отдельные предметы, всякий час попадающиеся ему на глаза, нужно нечто цельное, что привлекло бы его внимание, равно как и его взор, и что в некоем подобии театрального действия обобщило бы его смутное размышление.

Когда всем открылось это столь простое сооружение, – а ведь многие, быть может, надеялись увидеть нечто куда более чудесное! – которое, однако, всем пришлось по душе, хотя и невозможно было объяснить почему, сперва воцарилось молчание. Что до меня, то я поняла все же немного больше, нежели другие, потому что знала грамоту и стала читать надпись, сделанную у подножия сплетенного из колосьев креста: читала я ее про себя, вся погрузившись в это занятие; как далека была я в тот миг от мысли о той важной роли, которая была мне уготована в предстоящей церемонии! Вдруг братец взял меня за руку и повлек за собою – ведь я не сидела за длинным столом; места всем там не хватило, и я устроилась на траве вместе с ребятами. Братец подвел меня к алтарю и велел прочитать вслух, да погромче, то, что на нем было написано. Я читала, а все, кто был там, затаив дыхание, слушали.

«Этот алтарь воздвигла благодарная беднота, чей труд, благословенный небесами, будет вознагражден на земле».

И тотчас же изо всех уст вырвалось: «Ах!..» – словно вздох облегчения после долгих лет тяжкого рабского труда. Все почувствовали, что теперь они станут хозяевами этих колосьев, этих плодов, этих животных, всех даров земли, которые со временем смогут для себя приоб-

рести. Люди бросались друг другу в объятия, плакали и говорили такие слова, что и сам, кто их говорил, никогда бы не подумал, что когда-нибудь их произнесет. Старейшина нашей коммуны взял кувшинчик вина – то была его доля – и сказал, что лучше принесет его в дар, нежели выпьет. Он вылил вино на алтарь, и многие поступили так же, потому что в наших деревнях всегда сохранялся старый обычай – жертвенное возлияние вина. Монахи, которые при этом присутствовали и сделали вид, что благословляют алтарь, – по их словам, для того, чтобы эта церемония не выглядела бы уж и вовсе языческой, – потом говорили, будто бы весь приход был пьян. Да, приход был пьян, но не от выпитого вина, которого только и достало, что каждому губы смочить. Крестьянам хотелось, чтобы вина попробовал каждый, и пьяны они были не от вина, а от радости, от надежд, от дружеских чувств. Монахам не препятствовали лить святую воду, с ними даже чокались. Никто не таил на них обиды, хотя им по-прежнему не доверяли, но ненависти в тот день не было места в крестьянских сердцах; к тому же не хотели обижать монахов из-за брата – его-то ведь все любили.

Когда народ немного успокоился, критиканы – а такие находятся всегда и везде – сказали, что *этому уличному алтарю* все же кое-чего не хватает: не возвышается над всеми этими живыми тварями чистая христианская душа!

– Ваша правда, старики! – вскричал братец. – И я приглашаю всех матерей подвести детишек к алтарю нашей родины: пусть они коснутся его! А над этими поросшими зеленой травой ступенями должна еще возвышаться фигура ангела, возносящего к небесам моление о бедняках – точь-в-точь как на алтарях в праздник Тела Господня^[22]. Сейчас я выберу для вас ангела, а если мой выбор придется вам не по вкусу, вы скажете почему.

И тут он взял меня за руку и, подталкивая, потому что я упиралась, заставил опуститься на колени у самого креста из колосьев, на верхней ступени алтаря. Все страшно изумились, хотя и без тени досады: против меня никто ничего не имел, но крестьянин любит, чтобы ему все объяснили. Братец заговорил, будто проповедь произносил, это тоже всех очень изумило, ибо братец не был красноречив и обычно, выразив несколькими словами все, что хотел сказать, не добавлял более ни слова, не заботясь о том, внимательно его слушали или нет. Но на этот раз он, должно быть, захотел непременно убедить всех в своей правоте, потому что говорил много и среди прочего сказал и такие слова:

– Друзья мои, вместе с вами я вопрошаю себя: какие чувства в душе христианина более всего угодны Богу? И я полагаю, что это – мужество, кротость, почитание родителей и добросердечие. Девочка, которую я выбрал, – самая бедная в вашем приходе, но она никогда ничего ни у кого не просила. Ей нет и четырнадцати, а она работает как взрослая. Она ухаживала за своим дедушкой и оплакивала его смерть с нежностью, далеко превосходящей ее возраст; но это еще не все, она обладает дарами, которые тоже угодны Богу, если их употребить на добрее дело. Она очень умна и хорошо и быстро выучивается всему, чему ей удастся учиться. То, что она знает, она не хранит для себя одной, она спешит поделиться и с другими. Она учит всех подряд, не выбирая тех, кто может ее отблагодарить, она заботится о самых бедных так же, как и о самых богатых. Если вы ободрите ее и поддержите в труде, то через год многие из ваших детей научатся читать, а это будет для вас великое благо, ибо в ваших делах вам больше всего мешает то, что вы не в состоянии разобраться в бумагах и вынуждены ставить под ними крест вместо подписи, и потому вы питаете к ним недоверие, которое часто заставляет вас упускать счастливый случай.

Все поняли, что он говорит о приобретении национальных имуществ и считает такое приобретение разумным и безопасным, им хотелось поверить братцу и они поверили; поняли они и его слова, касавшиеся меня, и в толпе поднялся одобрителный гомон, очень меня изу-

^[22] Праздник Тела Господня – католический церковный праздник, учрежденный в 1264 г. папой Урбаном IV. Празднуется в первый четверг после Троицына дня и отмечается торжественными процессиями.

мивший, ибо я вовсе и не подозревала, что смышленнее и лучше других. Я думала о дедушке, о том, до чего был бы он счастлив, если бы услышал, как меня чествуют, и не смогла сдержать слезы.

Увидев, что вместо того, чтобы возгордиться, я держусь скромно и смущена, все прониклись ко мне симпатией; никто слова не сказал против, а старику Жиро даже кое-что пришло на ум; всю жизнь он был дружен с дедушкой, а после смерти того оказался самым старым в нашей коммуне. По этой причине его сделали на празднике председательствующим, и в петлице его дрогетовой куртки^[23] красовался букетик из колосьев и цветов.

– Дети мои, – сказал он, взобравшись на большой камень, чтобы его лучше слышали, – по моему разумению, братец сделал хороший выбор и хорошо рассказал, и уж поверьте мне, мы сделаем для этой малышки все, что в наших силах. Дом ее принадлежал монахам, мы купим его и отдадим ей в собственность, а также и огородик, что при нем. Если мы понемногу сложимся, кто сколько сможет, мы не больно потратимся, зато это будет наш опыт в том деле, о котором речь, наше первое приобретение национального имущества, и если когда-нибудь нас попробуют в нем упрекнуть, мы сможем сказать, что пошли на это из милосердия, и вовсе не ради выгоды.

Все одобрили его предложение, и наш мэр, папаша Шено, который был у нас самым богатым, всем предложил подписаться. Были такие, что давали по два су, а были и такие, что давали и по два и три ливра. Мэр дал пять, и дело было сделано: дарственную должны были составить на мое имя, хотя я еще не достигла совершеннолетия. Шено взял на себя опеку над моей собственностью. Моих братьев все уважали, но оставлять в их руках мое имущество не захотели. Я сразу же спросила, имею ли право предоставить им жилье, потому что предпочла бы ничем не владеть, нежели их прогнать. Мне сказали, что это мое дело и что я могу их держать до тех пор, пока мы будем ладить, и добавили, что мои добрые чувства доказывают еще раз, что мне и впрямь следовало помочь. Я стала обнимать мэра, и весь наш муниципалитет, и всех стариков, и всех старух. И тут все заговорили о танцах, приколотили мне к чепчику букетик цветов, и папаша Жиро, с трудом передвигавший ноги, пожелал открыть танцы в паре со мной. Танцевать я умела, как и любая другая, но так как была в трауре, мне этого вовсе не хотелось. Мне сказали, что все равно надо танцевать, потому что это совсем необычный праздник. Такого никогда не видывали и никогда уже больше не увидят, такой день радует души покинувших нас, и если бы дедушка был с нами, так это он, как старейший, танцевал бы в паре с первой покупательницей.

Я была вынуждена сдаться, но не прошло и двух минут, как папаша Жиро выбился из сил, и я поспешила уйти, потому что рассуждала так: «Они говорят, будто дедушка был бы доволен. Они не знают, что он умер с горя, так и не разобравшись в том, из-за чего радуются нынче их сердца».

Я пошла домой и опустилась на колени у дедушкиной кровати, стоявшей на прежнем месте и скрытой старыми занавесками из желтой саржи – они были задернуты с тех самых пор, как мы проводили дедушку в последний путь. В голове у меня все перепуталось. Я боялась, что дурно поступила, приняв имущество, которое он никогда не смог бы приобрести и, быть может, никогда не пожелал бы получить в подарок. А с другой стороны, я говорила себе: «Братец лучше про все это понимает, а он говорит, что долг бедняков в том, чтобы выбраться из нищеты на радость Господу, который любит труд и душевную стойкость». Я долго-долго думала и под конец все же решила принять подарок, сделанный от души и по доброте сердечной. Я вспомнила также, что это приобретение было первым подобным опытом наших крестьян, и, значит, у меня нет права отказываться от их подарка. И вот, приняв решение, я удивленным взглядом в первый раз оглядела этот ветхий домик. Он был очень старый, но еще

^[23] Дрогетовая куртка. – Дрогет – вид домотканой материи.

крепкий. Вделанный в стену очаг с заостренной аркой, в нишах – каменные скамьи. Балки совсем почернели, и потолок прохудился, пропуская и снег и дождь. В этом были виноваты мои двоюродные братья: стоило взять две-три доски, приложить немного труда – и все было бы в порядке. Дедушка частенько им указывал, но только они были из тех, кто много болтает, как бы устроить жизнь получше, и ничего не делает даже для того, чтобы не жить хуже. Теперь я буду вправе требовать – поскольку предоставляю им мой дом, – чтобы они починили его ради своего же собственного здоровья.

Мой дом! Я твердила эти слова, будто в полусне, да ведь все это и в самом деле походило на сновидение. Когда подписывались на покупку дома, говорили, будто с садом там станет имущества на добрую сотню франков! Сотня франков! По моим понятиям, огромные деньги. Значит, я богата? За минуту я несколько раз обошла сад. Посмотрела на хлев Розетты: весной Розетта принесла мне ягненка, он уже подрос и стал прехорошенький – я так о нем заботилась! Если его продать, у меня будут деньги на каменное строение рядом с тем, которое дедушка поставил своими руками – из уважения к нему я хотела сохранить этот старый хлев. Хватило бы мне тогда денег и на две, а то и на три курицы, а потом – кто знает? – может быть, купив маленькую козочку, я сумею вырастить славную козу? Я повторяла, нимало о том не подозревая, басню про Перретту и кувшин молока^[24]. Но только я не была той девицей, что, ради удовольствия немножко попрыгать, пролила бы молоко, и моим мечтаниям суждено было увести меня в такую даль, о которой я в те времена и помыслить-то не могла.

VI

И вот, хоть я была премного всем довольна, заботы завладели мною, и я все еще сидела в глубокой задумчивости под живой изгородью из терновника и лещины, когда братец пришел спросить меня, уж не осталась ли я недовольна тем, что он для меня сделал, и с чего это я вроде бы дуюсь на людей, пожелавших меня осчастливить.

– Неужели ты одного мнения с папашей Жаном, этим беднягой, который оплакивал свое рабство и свою нищету? – спросил он меня.

– Нет, – отвечала я. – Доживи дедушка до сегодняшнего дня, быть может, он понял бы то, что уже все начинают понимать; но я скажу вам одну вещь, которая пришла мне теперь в голову. Я в одно время и рада и огорчена. Я вижу, какие работы здесь надо было бы сделать, чтобы привести дом в порядок и сберечь имущество. Знаю также, что братья мне ничуть не помогут. Станут они держаться за то, что им не принадлежит! Может, даже начнут мне завидовать. Они привыкли потешаться надо мной, потому что я больше об них забочусь, нежели они сами. Вам хорошо известно, что они немного дикари и держатся за свое дикарство, что они скорее разрушат, чем построят, и что они всегда довольны, когда день прошел и никто им не напоминает о дне, что наступит. Ну что ж, быть может, они и правы, и я зря буду лезть из кожи, когда им это совсем ни к чему. Мне ведь еще так мало лет, сумею ли я в моем возрасте управляться с имуществом, которое стоит целых сто франков? Братья будут меня донимать. Какой совет дадите вы? Наверное, рассудите как они?

– Я больше не рассуждаю как они, – ответил он. – Прежде и они и я – мы считали, что чем больше печешься, чтоб было лучше, тем хуже получается, вот я и решил жить как придется, не думая о завтрашнем дне. Но с тех пор прошел год, Нанон, и я очень изменился. Слушая, что говорят монахи, я о многом стал размышлять. Они не выучили меня ни латыни, ни греческому,

^[24] ...басню про Перретту и кувшин молока. – Перретта – персонаж басни известного французского баснописца Жана де Лафонтена (1621–1695) «Молочница и кувшин». В басне рассказывается о девушке, которая несла на базар кувшин молока и по дороге размечталась о том, как много она сможет сделать на вырученные деньги. От радости она запрыгала и разбила кувшин.

зато я убедился в их нежелании делать добро беднякам, отцами и покровителями которых они себя именуют. Я видел, как смеются они над бережливостью и трудом, как поощряют лень и говорят, что как оно шло всегда, так будет идти впредь, и решил сам измениться и устыдился прежней своей лени. Я о многом думал; да, малышка, я многому научился сам, без чужой помощи, пока бегал по зарослям и вересковым пустошам. Мое тело нуждается в движении, мои ноги должны бегать. Подумай-ка, мне всего восемнадцать, я тощий, как козел, и мне, как козлу, нужно бегать и прыгать. И все же я много передумал: я ведь часто бываю один, когда монахи работают, и ты не увидишь теперь, чтобы я бегал с ребятами, лишь бы не остаться без компании. Ты, верно, замечаешь также, что когда я начинаю говорить, мне есть что сказать: это потому, что у меня в голове бродят мысли. Они еще очень смутные, но сердце подсказывает мне, что из них родится что-то доброе и человеческое, ибо я презираю тех, кто лелеет злобу. В тот день, когда я понял, что больше не монах, я переменялся так, как переменялась бы Розетта, если бы, вместо того чтобы блеять, она принялась болтать с тобой.

– Как? Вы уже не монах? Ваши родители изменили свое намерение?

– Об этом я ничего не знаю, они молчат, будто уже похоронили меня. Но зато я знаю, что при их гордости они никогда не позволят мне принять от государства милостыню, на которую станут теперь жить монашеские ордена^[25].

Если это будет решено окончательно и определенно, они не потерпят, чтобы дворянин, который внесет свой вклад в общину, согласился бы принимать вспомоществование. Впрочем, готовится закон, если он уже не вышел, – ведь я совсем не знаю, что творится в мире, – который не разрешает увеличивать число членов монашеской общины. Старым монахам дадут спокойно умереть, заботиться о хлебе насущном им не придется, а молодым людям не позволят более связывать себя навеки обетом. Я не стану монахом и так радуюсь этому, словно только сейчас и начинаю жить. Ты думала, я смирился со своей участью... твоя правда, я смирился, но как отчаявшаяся душа, что из гордости не желает продолжать бесполезное сопротивление. А с тех пор как я глотнул, как говорится в нынешние новые времена, воздуха свободы, я отвергаю эту участь!

– Но что станете вы делать, братец, если ваши родители ничего вам не выделяют?

– Если они бросят меня на произвол судьбы, – правда, я в это не верю, – что ж, стану крестьянствовать, для меня это не составит труда. Я отлично умею орудовать топором и мотыгой. Мне кажется, что жить, как мне хочется, совсем просто, ведь теперь передо мной открыт весь мир. Я ничуть не беспокоюсь за свою судьбу. На худой конец, стану солдатом... Надежда и радость переполняют мне сердце. Я останусь, пока меня держат здесь, и не буду скучать, не проявлю нетерпения, потому что у меня тут есть друзья и более никто меня не презирает. Обо мне не беспокойся. Подумай лучше о самой себе: смотри не отчаивайся, если тебе будет нелегко управляться с твоим маленьким имением. Видишь ли, сегодня крестьянин стоит посередине между своим прошлым, когда он предпочитал тяжело страдать, нежели работать невежливо ради чего, и будущим, когда, трудясь в поте лица, он забудет о страданиях. В тебе всегда жило мужество, ведь ты первая и научила меня ему. Сохрани его, это высокое чувство, и если понадобится сделать усилие, лучше его сделать, нежели возвращаться к болезненному оцепенению души, в котором держит рабство тех, кто ему покоряется.

Не помню хорошенько, в каких именно словах братец мне все это высказывал; я передаю их как могу, и, вероятно, ему пришлось немало постараться, чтобы они дошли до моего сознания, но это произошло, и они запечатлелись в нем навсегда. Они отвечали тому естественному

[25] ...принять от государства милостыню, на которую станут теперь жить монашеские ордена. – После конфискации церковных земель и отмены церковной десятины церковь Франции переходила на содержание государства, а священники должны были присягнуть конституции 1791 г. В декрете о передаче всех земель духовенства нации (24 ноября 1789 г.) было указано, что церковные земли конфискуются «с обязательством обеспечить подобающим образом средства на издержки культа и поддержание служителей культа».

чувству, которым я руководствовалась в жизни, и я извлекала из них для себя пользу в течение всей своей жизни.

Привлеченные шумом, мы вернулись на празднество. Прихожане из двух соседних приходов пришли к нам брататься, как тогда говорили. Они принесли с собой волынки и дудки и водрузили свои флажки рядом с нашим на ограде чудотворного источника. Никогда в Валькрё не видывали такого веселья, и только с наступлением ночи люди с трудом расстались друг с другом, нехотя расходясь по своим селениям. Приближалась страдная пора, жители равнины готовились убирать хлеба, кто на чужих, а кто и на своих полях, и, разумеется, долг перед землей стоял у них на первом месте. Эти коммуны были побогаче нашей, расположенной в горах, где и жать-то особенно нечего было; и так как кое-кто из наших на это жаловался, соседи сказали нам:

– Решайтесь, купите у ваших монахов их земли, и там, где они собирали лишь дрок, вы вырастите ячмень и овес.

Расставаясь, все обнимались и клятвенно заверяли друг друга, что будут всегда держаться вместе и помогать в случае нужды. Уходивших пошли провожать, и, возвращаясь уже в темноте, мы с братцем стали свидетелями события, которое навело меня на серьезные раздумья.

Уж не помню почему, только мы вдвоем отстали ото всех, и, чтобы нагнать их, нам взбрело в голову пойти по охотничьей тропке, едва-едва проторенной через овраги. Быстро идя по мягкому мху, заглушавшему шаги, мы начали нагонять двоих людей: девушку, хорошо мне знакомую, потому что она была из наших мест, и рослого парня в рясе – даже ночью она сразу выдавала, кто он таков. Они нас не заметили и какое-то время шли перед нами.

– Я даже слушать вас не хочу, – говорила девушка, – вы и не собираетесь на мне жениться.

А он, брат Сирил, один из двух молодых валькрёзских монахов, отвечал ей:

– Сделай по-моему, и клянусь, что мы поженимся. Завтра же я оставлю монастырь.

– Оставьте монастырь, пойдемте вместе со мною к моим родителям, – сказала она, – вот тогда я и буду вас слушать.

Она хотела уйти, он стал ее удерживать; но, увидев нас, устыдился и свернул в сторону, противоположную той, куда убежала от него девушка.

Братец, ничуть не удивленный, продолжал молча идти рядом со мною; я же была вся во власти любопытства и не могла удержаться от вопросов.

– Вы думаете, – спросила я, – этот брат женится на Жанне Мулино?

– Конечно, – ответил он. – Кто ему может помешать? Он уже давно об этом мечтает; пусть обзаведется семьей, мужчина не может жить один.

– Так, значит, вы тоже женитесь?

– Непременно, я хочу иметь детей, хочу сделать их счастливыми. Но я еще слишком молод даже думать об этом.

– Слишком молоды? Через сколько же времени вы станете об этом думать?

– Лет через пять или, быть может, шесть, когда у меня уже будет какое-то положение.

– Вы, верно, найдете себе богатую?

– Не знаю, это будет зависеть от того, что моя семья захочет для меня сделать; но я возьму в жены только ту женщину, которую полюблю.

– А разве бывает иначе?

– Бывает. Иные женятся только ради выгоды.

– Значит, когда-нибудь вы станете очень счастливым? Но я-то вас не увижу тогда, даже не буду знать, где вы, а вы и вовсе меня забудете.

– Я никогда не забуду тебя, в какие бы края меня ни закинуло.

– Как бы я хотела, чтобы вы кое-чему еще меня научили.

– Чему же это?

– Находить разные страны на карте, – ну, такой, какая висит в монастыре.

– Ладно, сам выучусь географии и тебя выучу.

Мы расстались у монастырских ворот. Со двора все еще уносили столы и скамьи, а старики переговаривались между собой:

– Второго такого счастливого дня нам уже не видать. Радость никогда не загашивается.

Они оказались правы – за годы революции то был счастливейший день для французов. Потом все смешалось, все покорежилось. Люди опытные это предвидели, но меня, при полном моем неведении, слова стариков привели в ужас. Они, казалось мне, грешат несправедливостью и неблагодарностью, потому что, считала я, Господь Бог не отнимет у людей того, что для них является благом. Я вернулась в свою лачугу на горе, полная грустных мыслей – мыслей о том, что придет день, и братец уедет от нас, и я больше никогда его не увижу. Глаза мои наполнились слезами. Пророчество стариков сбылось: я пережила счастливейший день своего детства, сейчас он подошел к концу, и меня уже пугало будущее; оттого-то рыдания и душили меня.

И все-таки конец года не принес в наши деревни особенно горестных событий, но прежней радости тоже не было, да и вести, долетавшие до нас, внушали беспокойство. Поэтому никто не спешил приобрести монастырские земли, и мэр, получивший совсем мало денег, обещанных на покупку моего дома, вынужден был ограничиться тем, что заплатил монахам за его наем.

Нас многое тревожило, и среди прочего – рассказы о том, что в Париже идут большие споры между сторонниками короля и Национальным собранием; что дворяне и священники не ставят ни во что декреты восемьдесят девятого года^[26] и грозятся перессорить те коммуны, которые, казалось, были так единодушны в ненависти к аристократам. Торговля замерла, нищета росла, и все снова стали бояться разбойников, хоть толком не знали, откуда им взяться. Было хорошо известно, что во многих местах идут грабежи, жгут лес, громят замки, но это все было делом рук крестьян, таких же, как мы, и им находили оправдание, считая, что владельцы поместий первые на них напали.

Между тем все чаще разгорались споры; не о республике – тогда еще понятия не имели, что это такое^[27], – а о религии. Монахи, которые сидели тихо, как мыши, были страшно раздосадованы, когда оба молодых монаха, Сирил и Паскаль, удрали ранним утром, наплевав, что называется, на все. В приходе много над этим потешались. Трое из четверых оставшихся монахов разозлились и начали вести проповеди против революционного духа, а между тем они сами тоже устроили у себя в монастыре революцию: отец настоятель умер, но они никак не могли договориться, кого назначить его преемником, и жили теперь республикой, никем не управляемые, никому не повинуюсь.

Братец, – между прочим, с тех пор как увидели, что он не намеревается оставаться в монастыре, его помаленьку начали величать господин Эмильен, – так вот, братец молчал, считая недостойным разглашать внутренние распри, коим он был свидетель; но, зная, что я умею хранить тайны, он рассказывал мне о них, когда мы оставались наедине. От него я узнала, что отец Фрюктюё, этот толстый грубиян, которого мы так не любили, оказался единственным искренним человеком, лучшим из всех четырех братьев. Натурально, он не был в восторге от продажи монастырского имущества, ибо относился к этой продаже всерьез и считал, что она вот-вот должна произойти, но твердо решил не делать ничего, чтобы этому воспрепят-

^[26] ...в Париже идут большие споры между сторонниками короля и Национальным собранием; что дворяне и священники не ставят ни во что декреты восемьдесят девятого года... – Столкновения между королем Людовиком XVI (1774–1792) и Национальным, Учредительным, а позднее Законодательным собранием происходили по различным поводам. Наибольшей остроты они достигли к осени 1792 г., после того, как король наложил вето на декреты Законодательного собрания, в частности – на декрет о высылке из страны священников, отказавшихся присягнуть конституции.

^[27] ...о республике... еще понятия не имели, что это такое... – Это не совсем точно, так как уже летом 1791 г. (после неудачного бегства короля и расстрела толпы на Марсовом поле в Париже) лозунг республики становится все более популярным.

ствовать, в то время как другие, особенно отец Памфил, подталкиваемые и подстрекаемые тайными письмами и предписаниями, собирались натравить друг на друга крестьян, поднять самых богомольных, запугав их небесными карами, против тех, кому церковное имущество не казалось святыней; короче говоря, монахи желали гражданской войны, потому что их уверили, что ее желает Бог, и, будь они порасторопнее и похитрее, они бы и в самом деле науськали нас друг на друга.

Как-то вечером, когда, накормив своих взрослых братьев ужином, я шла ночевать к Мариотте, меня перехватил Эмильен и отозвал в сторонку.

– Слушай, – сказал он, – про это будем знать только ты да я. В нашей общине и так хватает волнений, и то, что я тебе скажу, не должно быть предано огласке. Нынче вечером за ужином я не увидел отца Фрюктьюё. Днем у монахов были большие споры с ним, и они объяснили мне, что он заболел. Я пробрался в келью к эконому, его там не было, и так как я стал искать его повсюду, мне сказали, что на него наложено наказание, что меня это не касается, и велели идти к себе. Я сказал вполне откровенно, что наказывать брата за его политические взгляды представляется мне злоупотреблением властью, и спросил, в чем состоит это наказание. Мне приказали молчать и пригрозили тоже упрятать под замок. О! Выходит, бедняга монах сидит где-то под замком? Я увидел, что, продолжая стоять на своем, только поступлю во вред ему, что все переменялось и они готовы сейчас прибегнуть к строгостям. Не возразив больше ни слова, я пошел к себе в келью, сделав вид, будто подчинился им, но сейчас же, словно кошка, выскочил через окно, на крышу, отыскал место, где можно спуститься, и вот – я здесь. Хочу знать, где сейчас бедняга эконом. Если он в карцере, чего я опасуюсь, то это место жуткое, и они могут замучить его там до смерти, даже просто заставив поститься, потому что для него пост – тяжелое испытание; ведь он привык есть вволю и ни в чем себе не отказывать. Но я знаю, как туда проникнуть, правда, не в самый карцер, а в маленький закуток, откуда в темницу попадает немного воздуха. Я не раз пытался выяснить, сможет ли кто-нибудь очень худой туда проскользнуть, поговорить с заключенными и прийти им на помощь, но сам ни разу не смог туда пролезть, а между тем мешал мне суший пустяк – мои чересчур широкие плечи; но ты, узкая и тонкая, все равно что веретено, ты без труда пролезешь. Пошли! Если монах в карцере, я постараюсь как-нибудь его освободить, если же его там нет, усну спокойно, так как в этом случае он не будет наказан слишком жестоко.

Я ни минуты не раздумывала. Скинула сабо, чтобы они не стучали по камню, и чуть заметной козьей тропкой, что вела прямо вниз, на задворки монастыря, пошла вслед за Эмильеном. Он подхватил меня на руки, когда надо было спрыгнуть с невысокой, но отвесной скалы, а потом мы с ним пробрались в некое подобие погреба. Я прекрасно знала все эти закоулки, где каменное строение было почти неотличимо от скалы, – нет такого тайника, куда бы не проник ребенок, – но не знала, что скрывалось за слуховым оконцем в толще стены, запертым на ключ. Уже давно Эмильен, который всюду совал нос, узнал о существовании этого места, и вот сегодня с утра он заметил, что окошечко открыто, чтобы в карцер проникал воздух, и, значит, там кто-то сидит.

– Вот в это окошечко ты и должна пролезть, – сказал он мне. – Смотри только лезь осторожней, не поцарапайся.

VII

Я даже не видела той черной дыры, в которую собиралась лезть, ибо, помимо того, что на дворе была ночь, в погребе и среди бела дня царила тьма, и передвигаться там можно было лишь ощупью; но, ни секунды не колеблясь, я легко пролезла в дыру, потом проползла до решетки на маленькой отдушине и прислушалась. Сперва я ничего не услышала, затем уловила

какие-то еле слышные слова. Наконец голос стал громче, и я его узнала: то был голос отца эконома. Я осторожно окликнула его. Он испугался и мгновенно замолк.

– Не бойтесь, – сказала я ему, – это я, маленькая Нанетта, меня привел братец Эмильен: он тоже здесь, стоит сзади и хочет узнать, не очень ли вы мучаетесь.

– Ох, спасибо вам, храбрые вы мои ребята! – отвечал он. – Благослови вас Господь! Конечно же я мучаюсь, мне худо, потому что я задыхаюсь; но вы ведь ничем тут не можете.

– Вы, наверно, к тому же хотите есть и пить?

– Нет, мне дали хлеба и воды, и я как-нибудь устроюсь спать на соломе. Ночь пройдет быстро, а утром, быть может, наказанию моему придет конец. Уходите-ка подобиру-поздорову; если Эмильена застанут здесь и узнают, что он замышляет помочь мне, его тоже накажут, как меня.

Когда я, пятясь, возвратилась к Эмильену, тот попросил меня снова доползти до приора и передать ему, что одна ночь – это пустяк; а вот если его и завтра не выпустят, так мы об этом узнаем и постараемся освободить.

– И не думайте об этом! – воскликнул эконом, услышав мои слова. – Я должен подчиняться, не то со мной обойдутся еще хуже.

Долго вести переговоры было невозможно, ибо я задыхалась в этой каменной кишке и к тому же отнимала от заключенного ту малость воздуха, которая поступала к нему через отдушину. Вернувшись к Эмильену, я сказала:

– В одном я не сомневаюсь – если вы вернетесь в монастырь, с вами поступят как с этим бедным братом.

– Не беспокойся, – ответил он, – я буду очень осторожен. Если отец Фрюктюё не появится завтра, я, зная, где он, придумаю, как ему помочь. Не так уж я глуп, чтобы позволить засадить себя, когда мне нужно вызволить эконома.

Мы расстались.

Назавтра узник все еще оставался в карцере и послезавтра тоже. Каждый вечер мы разговаривали с ним, и мне удалось просунуть ему немного мяса, которое Эмильен стащил для него; мясной запах порадовал было приора, но тут же он нам сказал, что есть не может, потому что совсем разболелся. Голос его все слабел, и на третий день вечером у него, казалось, не было сил отвечать нам. Мы только и смогли понять, что он должен оставаться здесь, пока не поклянется в чем-то, в чем клясться не хочет. Уж лучше смерть.

– Дальше осторожничать, – сказал мне Эмильен, – было бы подлостью! Пойдем со мной к мэру, ты засвидетельствуешь, что я не лгу. Пусть магистрат потребует, чтобы монахи освободили несчастного эконома.

Это оказалось не так легко, как он себе представлял. Мэр бил человек вполне порядочный, но не больно отважный. Он нажил состояние, арендуя у монахов их лучшую мызу, и не очень-то был уверен, что они не станут вновь здесь хозяевами. Он, правда, говорил, что эконом – единственный достойный человек в монастыре и что монахам следовало бы выбрать его своим духовным пастырем, но отказывался верить, будто братья собираются уморить его в темнице.

К счастью, тут подошли другие члены муниципалитета, и Эмильен в ярких красках изобразил им всю историю. Он напомнил, что закон освобождал монахов от их обета, отпускал на все четыре стороны. Долг муниципалитета, сказал он, заставить уважать закон, тут не может быть двух мнений. Если же валькрёзский муниципалитет ему откажет, он немедленно уедет в город, где магистрат, несомненно, и храбрее и человечнее.

Я была очень довольна его пламенной речью и сама вступилась в защиту приора перед мэром, который меня любил и стал расспрашивать про монастырский карцер, хорошо зная, что я скажу только правду.

– Ну что ж, – сказал он, – надобно нам, старикам, стать под команду этих двух ребяташек! Забавно это все же; да, мы живем во времена больших перемен: мы сами этого хотели, значит, нужно сносить и последствия.

– Вы видите, – сказал ему Эмильен, – мы пришли к вам, преисполненные почтения и со всевозможными предосторожностями. Мы никому, кроме вас, не сказали о том, что происходит, а ведь могли бы поднять на ноги молодых парней, и пленник был бы уже на свободе; но они, быть может, дурно обошлись бы с монахами, а вы ведь именно этого и не хотите. Так идите же и говорите от имени закона.

Мэр пригласил пойти вместе с ним нескольких членов совета.

– Признаюсь, – сказал он, – что мне не больно охота идти одному: они, монахи, прикидываются овечками, но стоит их разозлить, так живо показывают зубы и кусают до крови.

Все без лишнего шума отправились в монастырь и были там хорошо приняты. Монахи ни о чем не догадывались, но когда мэр сказал, что должен кое-что им всем официально сообщить, но он не видит среди них эконома, они, смешавшись, сослались на его болезнь.

– Больной он или здоровый, но мы хотим его видеть, проведите нас к нему.

Членов муниципалитета заставили долго ждать и, желая усыпить их внимание, любезно угощали лучшим вином. Вино было принято и выпито, отказаться было бы неучтиво, но мэр все же настоял на своем, и его проводили в келью эконома. У монахов хватило времени перевести его туда, объявив ему, что он прощен, и, когда мэр осведомился о его здоровье, бедняга, не желая предавать братьев, ответил, что у него приступ подагры, поэтому он и не выходит из кельи. На секунду мэр поверил ему и даже подумал, что мы соврали, но он был достаточно проницателен, быстро разгадал правду и сказал монахам:

– Почтенные отцы, я вижу, отец Фрюктюё очень болен; но нам известна причина этого недуга, и у нас есть приказ его пресечь. Если отец Фрюктюё хочет вас покинуть, он волен в этом, и мой дом в его распоряжении; в противном случае мы ставим вас в известность, что если вы снова заставите его жить в сырой норе, вам будет худо, ибо в нашем распоряжении есть закон, чтобы его защитить, и национальная гвардия, чтобы подкрепить закон.

Монахи сделали вид, будто не понимают, о чем речь. Отец Фрюктюё вежливо отказался от защиты, которую ему предлагали, но остальные намотали все это себе на ус. Они не предполагали, что мэр окажется столь решителен, и перепугались. На завтра они собрали совет, и отец Фрюктюё, который мог их погубить, но не пожелал этого, был избран старшим над тремя другими. Его окружили заботой, холили и лелеяли, и он вовсе не помышлял о мести. С этих пор монахи держались тихо, но они сразу догадались, что Эмильен действовал против них, и смертельно его возненавидели, хотя и не смели открыто проявить свою враждебность.

После этого приключения мы с Эмильеном сделались закадычными друзьями. Мы вместе совершили такое дело, значение которого, быть может, и преувеличивали, потому что оно льстило нашей детской гордости, но мы вложили в него всю душу и пренебрегли опасностью. К нам уже можно было относиться как к взрослым. Начиная с этого дня Эмильен стал очень рассудительным, его просто узнать было нельзя. Он по-прежнему охотился, но только ради того, чтобы отдавать дичь больным беднякам, и не носился больше с нашими мальчишками по лугам. Он читал книги и газеты, какие приходили из города, и еще монастырские книги, – Эмильен говорил, что среди хлама там попадаются и хорошие. Он старательно учил меня, за долгие зимние вечера я сделала большие успехи и теперь понимала почти все, о чем он мне рассказывал.

Больше не выплачивая арендную плату монахам и кое-что зарабатывая – я начала уже ходить на поденщину и стирала в монастырской прачечной, – я выбралась из нищеты. Мои ученики тоже приносили мне доход, потому что учиться грамоте у нас вошло в моду; правда, мода эта продержалась лишь до продажи национального имущества, потом о грамоте уже никто и не думал. Но у меня был второй ягненок, и я продала первого довольно удачно, так что смогла

купить вторую овечку; мне принесли двух кур, я очень о них заботилась, и они стали чудесными несущками. Каково было мое удивление, когда к концу года у меня оказалось накоплено пятьдесят ливров!

Мои взрослые братья поражались моей ловкости, – ведь они зарабатывали во много раз больше моего, но ничего не умели отложить; впрочем, видя, что я стараюсь ничего не брать с них за жилье, они оказались достаточно рассудительными, перекрыли крышу и расширили хлев.

Весной тысяча семьсот девяносто первого года мы узнали важную новость: закон предоставлял восьмимесячную отсрочку платежей тем, кто покупает национальное имущество. Тут крестьяне уподобились стае жаворонков, когда она камнем падает в хлеба: за три дня они все раскупили. Участки были совсем крохотные и шли за бесценок, так что раскуплены были все до единого клочки земли в долине. Каждый купил что смог, и хотя отец Памфил насмехался и пугал крестьян, красноречиво расписывая, что земля в их руках долго не останется, ибо с теми, кто свершит такое святотатство, случится беда, поверивших его словам было очень мало. Впрочем, отец Фрюктюё предписал ему молчание, он требовал уважения к закону, хотя и очень горевал из-за него. Что до меня, так мне удалось купить мой дом за тридцать три франка, и я смогла даже вернуть часть денег из собранных для меня в складчину на празднике Федерации, попросив мэра раздать эти деньги бедным. Себя-то я считала за богатую, – как же, ведь я была уже собственницей, и у меня осталось еще пятнадцать франков после того, как деньги были возвращены.

Но никто из нас не мог и помыслить о покупке монастыря с его огромными строениями и оставленными за ним землями, которые, будучи очень хороши, были нам совсем не по карману.

Думали уже, что монахи в нем останутся надолго, если не навсегда, когда в середине мая появился некий господин, сопровождаемый мэром и одним судебским из города, и, показав бумаги, удостоверявшие, что он является владельцем монастыря и его угодий, попросил братию через судебного пристава очистить все помещения.

Вероятно, трое монахов, выбрав отца Фрюктюё настоятелем, в конце концов поняли, что он ничему воспрепятствовать не сможет. Они приняли меры и подыскали себе жилье, не дожидаясь судебного приказа, и когда новый владелец вошел в монастырь, он обнаружил там только одного настоятеля, который пересчитал деньги и вписал их в книгу.

Эмильен, присутствовавший при этом свидании, ибо отец Фрюктюё попросил его помочь ему привести в порядок счета, рассказал мне все, как оно было.

А теперь надобно сказать несколько слов о покупщике. То был адвокат из Лиможа, патриот, который рассчитывал перепродать свою покупку и сделать выгодное дело, если закон останется в силе, но хорошо понимал, что во времена революции риск всегда очень велик; тем не менее он шел на этот риск из преданности революции. Все это он изложил настоятелю, который принял его очень любезно и захотел побеседовать с ним.

– Я верю вам, – сказал он, – у вас лицо человека достойного, и мне говорили, что вы пользуетесь хорошей репутацией. Что касается меня, то я всегда думал, что распродажа нашего имущества начнется тотчас же, как Национальное собрание объявит рассрочку платежей. Поскольку дело сделано, мне остается только подчиниться. Но вы застали меня за подсчетом того, что наша община имела наличными деньгами, и я бы хотел узнать от господина мэра, который здесь присутствует, кому я должен их передать, потому что теперь мы имеем право только на государственную пенсию.

Господина Костежу (таково было имя покупщика) удивила честность и прямота настоятеля. Он был весьма предубежден против монахов и не удержался от вопроса – так ли щепетильны и другие члены общины в отношении своих наличных денег.

– Сударь, – ответил ему настоятель, – вы вовсе не должны касаться моих братьев во Христе. Они покинули обитель, не взяв с собой ничего из общего имущества. Да они и не

смогли бы это сделать, потому что я был у них и настоятелем и казначеем. Если вы подозреваете недостачу денег, то это подозрение должно пасть только на одного меня.

Мэр уверил его, что ни у кого нет никаких подозрений; адвокат попросил извинения за те слова, что вырвались у него, а судейский объявил, что не сомневается в честности настоятеля. Он принял сумму, которая равнялась одиннадцати тысячам франков и которую он должен был возвратить государству. Он выдал на нее расписку и предложил настоятелю заявить свои права на обещанный пенсион.

– Я не буду ничего заявлять и не хочу пенсион, – ответил тот. – Я принадлежу к семье зажиточной, которая с радостью примет меня и даже возместит мне мою часть наследства, поскольку по закону я более не принадлежу к монашескому ордену.

Покупщик, видя, сколь настоятель бескорыстен и законопослушен, уверил его в том, что никто и не собирается грубо вытолкать его из монастыря, и пригласил остаться на несколько дней и более, если он того пожелает. Настоятель поблагодарил и сказал, что он уже давным-давно готов покинуть эти места.

Тогда занялись беднягой братцем, который оставался без единого су и в том самом платье, что было на нем надето.

– А как же вы, сударь? – спросил его судейский. – Позаботится ли кто-нибудь о вашей судьбе?

– Этого я не знаю, – ответил братец.

– Кто же вы?

– Эмильен де Франквиль.

– В таком случае... У нас нет никаких оснований беспокоиться за вас: ваша семья из самых богатых в провинции, и вы, конечно, воссоединитесь с ней?

– Но я не получил от моих родителей никакого предписания и не знаю, где они, – сказал Эмильен с некоторым замешательством.

Покупщик, мэр и судейский с изумлением переглянулись.

– Возможно ли, – воскликнул покупатель, – чтобы вас вот так и оставили на произвол судьбы?..

– Простите, сударь, – перебил его Эмильен, – вы ведь говорите при мне, а я не позволяю никому оскорблять моих родителей...

– Это делает вам честь, – в свою очередь перебил его господин Костежу, – но все же вы должны знать, каково ваше положение. Ваши родители покинули пределы Франции, и если они незамедлительно не возвратятся, их будут рассматривать как эмигрантов. Вы, безусловно, осведомлены о том, что стоит вопрос, не лишит ли эмигрантов их собственности^[28]; если решение будет положительное, вы легко можете оказаться без средств, ибо в случае объявления нам войны конфискация вашего имущества и имущества тех аристократов, что перешли на сторону врага, будет первым декретом, который примет Национальное собрание.

– Ни мой отец, ни мой брат никогда не перейдут на сторону врага! – вскричал Эмильен – И я настолько в этом уверен, что даже рассчитываю пойти служить солдатом, если по какой-то неведомой мне причине моим родителям будет невозможно вернуться во Францию и принять во мне участие.

– У вас очень благородные чувства, – сказал покупатель. – Но в ожидании того времени, когда начнется война и вы войдете в возраст, чтобы принять в ней участие, позвольте мне заняться вашей судьбой. Я вовсе не собираюсь, вступив во владение монастырем – этой темницей, куда вас заточили, выбрасывать вас на улицу; оставайтесь здесь, пока я соберу сведения о средствах существования, которые выделены вам вашими родными. Они оставили в своем

[28] ...стоит вопрос, не лишит ли эмигрантов их собственности... – Декретом Законодательного собрания от 9–12 февраля 1792 г. земли эмигрантов-дворян были конфискованы.

поместье управляющего, который должен был получить какие-то указания, и я возьму на себя труд напомнить ему о них.

– Быть может, он не получил никаких указаний, – отвечал Эмильен, – мои родители, наверно, не предполагали, что монастырь будет продан. Поэтому они и считают, что я ни в чем не терплю нужды.

– Не платили ли они этой обители деньги за ваше содержание?

– Нет, ничего не платили, – сказал настоятель. – Община должна была получить двадцать тысяч франков в тот день, когда он примет постриг.

– Мне все ясно, – сказал господин Костежу судейскому. – Они хотели схоронить навсегда младшего сына и старались, чтобы монахи были заинтересованы в его постриге.

Настоятель улыбнулся и сказал, обращаясь к Эмильену:

– Что касается меня, дорогое мое дитя, так я от вас никогда не скрывал, что так обстоит дело во всех монастырях, и никогда не докучал вам уговорами искать там вашу судьбу.

Они грустно пожали друг другу руки, ибо со времени событий в карцере стали очень любить и уважать друг друга. Эмильен гордо попросил адвоката не заниматься его делами, так как он и в мыслях не имеет сделаться бездомным бродягой и, даже не покидая коммуны, отлично найдет, чем заняться, и никому не будет в тягость. Судейский удалился, а покупатель с мэром пошли осматривать монастырские строения. Когда же они вернулись в келью приора, у господина Костежу созрело решение, которого никто никак и не ожидал.

VIII

И вот господин Костежу обратился к ним с нижеследующими словами:

– Господин приор, я только что узнал от господина мэра кое-какие подробности, касающиеся вас и юного Франквиля, и хотел бы, чтобы вы оба позволили мне считать себя вашим другом. Мы можем быть взаимно полезны: я – доверив вам мои интересы, вы – приняв на себя управление моим новым владением. Я сам не собираюсь ни жить здесь, ни вести хозяйство – мои занятия мне этого не позволяют, – не думаю я и перепродавать его ранее, нежели чем через несколько лет, ибо не хочу уходить в сторону от риска. Оставайтесь здесь оба и управляйте поместьем, как если бы оно принадлежало вам. Я знаю, что могу со всевозможным доверием отнестись к тем отчетам, что вы мне представите. Требование у меня одно: не давать пристанища никому из людей духовного звания. Во всех других отношениях чувствуйте себя здесь как дома и сами определите долю, которую возьмете себе с того, что принесут отданные вам для хозяйствования земли.

Отец Фрюктюё был изумлен этим предложением и попросил день на размышление. Мэр пригласил его к себе на ужин, приглашение было принято от чистого сердца; Эмильена тоже взяли с собой, – господин Костежу был и удивлен и обрадован, узнав, что он истинный патриот и добрый гражданин.

Оставшись наедине с приором (так продолжали называть отца Фрюктюё, хоть он управлял общиной всего лишь шесть недель), Эмильен попросил у него совета.

– Сын мой, – отвечал тот, – мы словно двое потерпевших кораблекрушение на неведомом берегу. Я-то проживу недолго, хотя еще не так уж стар и, как видишь, в теле; но после карцера я испытываю приступы удушья, которые подолгу не отпускают меня, и нет у меня надежды от них избавиться. Я не соврал господину Костежу, что у меня есть семья и маленькое наследство, но тебе могу признаться, что моя родня стала мне совсем чужой и что ежели я и могу рассчитывать на доброе отношение ко мне, то отнюдь не уверен, что превозмогу себя и разделю с этими людьми их мысли и привычки. Я вступил в Валькрёзский монастырь шестнадцати лет, как и ты, с тех пор прошло ровно пятьдесят. Здесь я почти все время страдал, то от одного, то от другого; быть может, я страдал бы точно так же в любом другом месте, но теперь куда больше

буду страдать от перемен, чем от всего прочего. Нельзя покинуть дом, где столько пережито, не оставив в нем частицу своей души. Не видеть больше этих старых стен, этих огромных башен, этих садов и этих скал, которые всегда были передо мной, кажется мне невыносимым. Так вот, я принимаю на себя управление хозяйством, которое мне предложено, и надеюсь окончить мои дни там, где провел свою жизнь. Что до тебя, то это дело другое; ты не можешь любить наш монастырь, и я не представляю себе, чтобы твои родители не подумали о тебе, когда им станет известно, что монастырей больше не существует. Но кто знает, что может случиться и с ними и с вашим состоянием? Твой отец, с которым я обменялся несколькими письмами, придерживается отживших взглядов и не желает верить тому, что с нами происходит, а когда поверит, быть может, уже не будет времени принять разумные меры. Я давно узнал, но не хотел тебе говорить, а теперь должен наконец узнать и ты, что франквилские крестьяне разгромили ваш замок. Они бы его сожгли, если бы не управитель, а он у вас человек ловкий и очень хитрый; но крестьяне рассчитывают, что земли пойдут с аукциона, как тебе сказал этот адвокат, и было бы отнюдь не безопасно и твоей семье и тебе самому слишком скоро туда возвращаться. Оставайся же со мной, посмотришь, как сложатся обстоятельства. Если ты все же уйдешь, если примешь решение без согласия отца, он, может статься, будет этим очень недоволен и спросит с меня; а вот если найдет тебя там, куда поместил, где оставил, он не сочтет дурным то, что ты принял некое условие, которое даст тебе возможность просуществовать.

– Но каково будет это условие? – спросил Эмильен. – Что мне придется делать, чтобы заработать себе кусок хлеба, который вы мне предлагаете разделить с вами?

– Ты возьмешь на себя ведение счетов и будешь присматривать за работниками. При необходимости и сам станешь работать – ведь ты любишь телесные упражнения. Я же, признаюсь, не чувствую к ним вкуса.

После этого он отправился спать, а Эмильен, едва только рассвело, пришел ко мне посоветоваться, словно я была тем человеком, который мог дать ему добрый совет. Мне показалось, что приор привел ему очень основательные доводы, и я стала уговаривать моего друга поселиться с ним.

– Если вы уедете, – сказала я ему, – я даже представить себе не могу, как мне жить дальше. Я так сильно к вам привязалась, что готова куда угодно идти за вами, даже если мне придется выпрашивать милостыню на дорогах.

– Ну, раз так, – отвечал он, – я останусь здесь, пока это будет возможно, ибо я питаю к тебе такую же дружбу, какой даришь меня ты, и, расставшись с тобой, испытал бы не меньшую горечь, чем тогда, когда мне пришлось покинуть свою сестренку.

– Вы по-прежнему ничего не знаете о ней? Не осталась ли она одна во Франквиле?

– О нет! Я знаю, что она должна была вступить в женский монастырь тогда же, когда я вступил сюда.

– А где этот монастырь?

– В Лиможе. Но ты навела меня на мысль, что ее могут вышвырнуть на улицу. Я теперь свободен; отправлюсь-ка туда и разузнаю про нее.

– В Лимож? Господи боже мой, это же ведь так далеко, а вы и дороги-то не знаете!

– Ну уж дорогу я легко найду, это всего в пятнадцати лье отсюда.

Словом, решение было принято, и приор не противился. Даже господин Костежу, который был рад-радешенек передать заботы о своем новом владении в хорошие руки, предложил взять Эмильена с собою и помочь ему в поисках, ибо он что-то не слыхал в Лиможе, своем родном городе, чтобы младшая дочь Франквилей была помещена в один из тамошних монастырей, и потому опасался, что брат не сможет ее разыскать. Он только попросил его одеться в обычное платье, ибо хотя в то время еще и не преследовали служителей церкви, но сторонники революции не любили показываться в их обществе. Эмильен поспешил натянуть на себя одежду, которую носил до того, как обрядился в рясу, не подумав о том, что за три года вытя-

нулся на целую голову и раздался в плечах. У моего двоюродного брата Пьера, который был тех же лет и такого же роста, оказалось дрогетовое платье, совершенно новое, и я хотела, чтобы он отдал его Эмильену на время. Но Пьер и слышать об этом не желал и повел речь о продаже; денег у Эмильена не было, и, не ведая, когда они у него будут, он не смел ни у кого брать в долг. Ах, как я была счастлива и как горда, что смогла предложить ему мои пятнадцать франков! После долгих препирательств он их от меня принял. За половину этой суммы он купил у Пьера платье, в котором, как мне казалось, стал куда красивее, а остальные положил в карман, чтобы ни от кого не зависеть в пути. Увидев его в таком наряде, господин Костежу расхохотался с лукавым и вместе с тем благожелательным видом.

– Ох, ох, господин виконт, – сказал он ему, – ведь, несмотря на ваше послушничество, вы останетесь виконтом де Франквилем, поскольку ваш старший брат носит титул графа, а ваш отец – маркиза; значит, пришлось вам вырядиться в крестьянскую одежду! Но в городе вы, очевидно, оденетесь по-другому?

– Нет, сударь, – ответил Эмильен – я не смогу этого сделать, и если вы стыдитесь общества крестьянина, я пойду своей дорогой, а вы ступайте своей.

– Меткий удар! – смеясь, сказал адвокат. – Вы преподали мне урок равенства, но я в нем не нуждаюсь. Уверю вас, что мы пойдем друг друга и отлично сойдемся.

По приезде в Лимож Эмильен, с помощью господина Костежу, начал искать сестру по всем монастырям. Они еще были открыты – власти проявляли терпимость, а покупателей не находилось, – но сестры его ни в одном из них не оказалось, и он поспешил во Франквиль, чтобы разузнать о ее судьбе.

Его там не сразу узнали, так он вырос, изменился, да и одежда на нем была другая. Он беспрепятственно прошел в замок и обратился к управляющему, который был весьма удивлен, когда Эмильен назвался, и притворился, будто не верит, что он это он.

– Вы утверждаете, что вы виконт де Франквиль, – упорствовал управитель, – возможно, это правда, а возможно, ложь, ибо при вас нет ни рекомендательных писем, ни бумаг, которые подтвердили бы ваши слова. Как бы там ни было, я не получал никакого распоряжения на ваш счет. Ваши родители эмигрировали и, кажется, собираются вернуться только вместе с чужестранцами. Это очень худо и для них и для вас, потому что ваше имущество будет продано и вы останетесь ни с чем. А пока я могу распоряжаться доходами, следуя указаниям владельцев, написанных их рукой, или же требованиям властей, а поскольку вы ничего не можете предъявить, я ничего не могу вам дать.

– Я приехал вовсе не за тем, чтобы просить у вас денег, – гордо возразил ему бедный маленький виконт, – они мне не нужны.

– Ах, так вы при деньгах? Получили часть сокровищ Валькрёзского монастыря? Разумеется, монахи не такие простаки, чтобы перед уходом не поделить их между собою.

– Никаких сокровищ в Валькрёзском монастыре не было, а небольшая сумма денег, отложенная на всякий случай, возвращена господином приором государству. Но все это вовсе не должно вас интересовать и касаться, раз вы продолжаете упорствовать в нежелании признать меня за того, кто я есть на самом деле; я пришел только, чтобы спросить вас, где моя сестра, и, надеюсь, у вас нет причин скрывать это от меня.

– Никаких; ваша сестра, ежели вы настаиваете на том, что вы Франквиль, живет в Тюле у моих родных. Здесь ей было опасно оставаться, потому что крестьяне были очень озлоблены против всех вас; просто чудом мне удалось их сдержать, и, уж поверьте мне, я в вашем замке сплю вполглаза. Малышку я отсюда отослал, она ни в чем не терпит нужды, я плачу, сколько нужно, за ее содержание.

Эмильен осведомился об имени этих родственников, которым, по словам управляющего, он доверил девочку, и немедленно отправился восвояси, не назвавшись никому из слуг и не подумав о том, что тем самым лишь подтверждает подозрения управляющего; но, уже подходя

к околице деревушки, он столкнулся со старым слугой своей семьи, который всегда любил его, сразу же признал и закричал:

– Господин Эмильен!

У Эмильена было тяжело на сердце, он, рыдая, упал в объятия старого друга, бежалось все местечко, все радушно его приветствовали. Его любили, считали жертвой честолубия старшего брата и вздорных идей всего семейства, помнили, что, предоставленный самому себе, он держался на равной ноге с любым из бедняков. Крестьяне пришли в ярость, – они потому только признавали управителя, что тот, желая обуздать их, сулил скорую распродажу эмигрантского имущества; но потом поняли, что он их всех обманывает и так заботливо бережет господское добро только потому, что надеется прибрать его к рукам: он был богат, – еще бы, столько накрал! Крестьяне захотели его повесить, на руках внести Эмильена в замок его предков, взять себе в сеньоры; никого другого они не желали.

Он с большим трудом утихомирил их и убедил, что не может идти против воли отца. Да к тому же самым неотложным делом для него было отыскать сестру, которой, быть может, было очень худо, ибо чем больше ему рассказывали, какой подлец управляющий, тем больше было у него причин тревожиться и спешить. Пришлось крестьянам отпустить его. Но старый слуга по имени Дюмон решил идти с ним и от своего решения не отступился.

В дилижансе они отправились в Тюль. Там они и в самом деле нашли малышку Луизу у некой старой фурии, которая во всем ее утешала и награждала колотушками, стоило той возмутиться. Луиза рассказала брату все свои горести, и соседи подтвердили, что она говорит чистую правду. Если старуха и получала на нее пенсион, то она его прятала, а девочку кормила кожурой от каштанов и водила в рубище.

Эмильен был в таком негодовании и отчаянии, что, даже не повидав старуху и ни с кем не посоветовавшись, забрал сестру и отвез ее прямо в монастырь вместе со стариком Дюмоном, у которого была при себе малость денег и который ни за что не хотел расстаться с этими несчастными, покинутыми детьми.

Чтобы покончить с историей этого похищения, я сразу расскажу здесь все, что к нему относится. У маркиза Франквиль близких родственников в наших краях не было. Так как, по заведенному в семье обычаю, ради старшего сына все младшие сыновья и все дочери принимали постриг, семья утратила всякие родственные связи и под рукой не было никого, чьим заботам можно было бы вверить Луизу и Эмильена. Оказавшись в замке под угрозой серьезной опасности, семья уехала внезапно, приказав управляющему и кормилице поскорее поместить девочку в монастырь. Управляющий счел более экономным отдать ее туда, где мы ее нашли, а маркизу, с которым он состоял в переписке, объяснил все так, как ему было выгодно. Разумеется, Эмильен, не имевший права забирать свою сестру, должен был бы обратиться к господину Костежу, отменному законнику, и тот, быть может, посоветовал бы отвезти ее к какой-нибудь даме, связанной родством или дружбой с их семьей; но дело было сделано, и адвокат не мог осудить Эмильена, ибо эти двое детей находилась, как он говорил, в особом положении в силу обстоятельств: словно совершеннолетние – без родных и словно сироты – без покровителей. Он всячески ругал управляющего, но при всем том у него не было никакой возможности вытрясти из него чужие деньги: в ту пору законность почти покинула пределы Франции. Господин Костежу посоветовал Эмильену подождать и не возвращаться во Франквиль, где его присутствие повело бы, помимо его воли, к крупным беспорядкам. Старуха, родственница управляющего, не имела права требовать возвращения девочки Франквиль, и у Эмильена было куда больше прав оказывать ей покровительство. Так что речь шла лишь о том, чтобы обязать управляющего давать хоть что-нибудь им на жизнь. Господин Костежу написал в Кобленц^[29], где находилась семья Франквилей, но ответа не получил, – по всей видимости,

^[29] Кобленц – город у слияния рек Рейна и Мозеля (в Трирском архиепископстве), в годы буржуазной революции во

потому, что его письма не дошли. Тогда, опасаясь идти на открытый скандал во времена, когда самый незначительный поступок вызывал порою последствия совершенно непредвиденные, он из собственного кармана послал Эмильену пятьсот ливров, но, щадя его самолюбие, написал, что они пришли от управляющего Франквилем, будто бы уразумевшего, в чем заключается его долг.

Обман был разоблачен самим же управляющим, который, испугавшись, прислал в два раза большую сумму, поручив своему посыльному передать на словах, что, поскольку жители местечка узнали Эмильена, он, управляющий, приносит свои извинения и шлет деньги, чтобы надлежащим образом устроить Луизу, и предлагает даже отправить к ней кормилицу, которая согласна ехать в любое место, где та обоснуется; но Луиза сказала нам, что эта кормилица до крайности падка на развлечения и всегда очень мало занималась ею. На деньги дали расписку, от кормилицы отказались. Эмильен снова отправился в Лимож поблагодарить господина Костежу и вернуть ему долг. Адвокат был в восхищении от рассудительности, доброты и бескорыстия юноши. Он горячо просил Эмильена поселить сестру в монастыре – пусть живет там по своей воле и делает лишь то, что ей по вкусу; что же касается самого Эмильена, то адвокат уверял, будто никаких долгов за ним нет, поскольку он с таким тщанием присматривает за помещьем господина Костежу, и это во времена, когда все кругом пришло в запустение.

IX

Вот мы и зажили в монастыре одной семьей: почтенный приор, Эмильен, малышка Луиза, старик Дюмон и я. По просьбе Эмильена пришлось мне воспитывать и развлекать его сестру, а кроме того, делить с Мариоттой домашние хлопоты. Мои двоюродные братья подрались обрабатывать землю господина Костежу и жили вместе с нами. Таким образом, это жалкое хозяйство, давно заброшенное и почти бездоходное, должно было прокормить немало народу, но, не считая моих братьев и Мариотты, которым было положено поденное жалованье, мы все, не жалея сил, трудились бесплатно, так энергично и расчетливо ведя хозяйство, что владелец был нами очень доволен и хотел одного: чтобы мы задержались у него подольше. Меньше всех работал приор, которого замучили приступы астмы, но без него мы никак не могли обойтись: молодежь следовало держать в строгости, и среди нас один приор умел их приструнить. В кошельках у нас водились кое-какие деньги, и брать вперед у господина Костежу мы не захотели. К тому же родственники приора вызвались заплатить ему сколько-то, если он откажется от своей доли в наследстве. Приор отправил Дюмона к себе на родину, в Гере, и, видно, остался доволен суммой, которую тот ему привез.

И вот, в то время как события во Франции принимали все более грозный и зловещий оборот, мы наладили свое хозяйство и по-детски эгоистически наслаждались жизнью. В наше оправдание надо сказать следующее: мы почти ничего не знали о том, что творится вокруг, и скоро вообще перестали что-либо понимать. Пока существовало монашеское братство, в монастырь приходили газеты, приказы от окружного начальства, предписания высокого духовенства. Теперь приору не присылалось ничего: церковники гневно отвернулись от него за то, что он сдружился с неприятелем и даже воспользовался гостеприимством покупателя. Купив себе землю, ошалевшие от радости крестьяне с утра до ночи обносили каменной оградой и колючим кустарником свои драгоценные участки. Работали не покладая рук, чего раньше никогда с ними не случалось, и так бранились из-за границ своих наделов, что обсуждать политические или церковные дела им было некогда. Впрочем, они стали еще более усердны в вере, чем при монахах. Мессы в монастыре не служили, поскольку приходская церковь уже не существовала,

Франции стал центром контрреволюционной эмиграции. В Кобленце организовывались заговоры против революции, формировались отряды дворян-добровольцев, участвовавших в интервенции.

однако по желанию местных жителей утром, в полдень и вечером приор приказал бить в большой колокол. И хотя молитвы почти уже выветрились из памяти крестьян, им был бесконечно дорог привычный звон их церковного колокола. Ведь он возвещал им начало и конец трудового дня, по нему они узнавали, когда пора обедать или отдыхать. Когда немного погода монастырские колокола конфисковали и перелили на пушки, крестьяне не на шутку опечалились. Приход, где не звонит колокол, – это же мертвый приход, говорили они, и я не могла с ними не согласиться.

Должна сказать, что пока не наступили тяжелые времена и мне не довелось собственными глазами увидеть удивительные события, мы жили в старом монастыре нашего захудалого Валькрё вольготно и беспечно, как бы отгороженные от всего мира.

Эмильен умел довольствоваться столь малым, что почитал себя богачом, имея на жизнь всего-навсего тысячу франков. Деньги он отдал господину Костежу, который обещался выгодно их поместить, но Эмильена это мало заботило, потому что в таких делах он все равно ничего не смыслил. Он радовался тому, что о его крошечном достоянии заботится нынешний хозяин монастыря, почтивший его своей дружбой, но мысли Эмильена были заняты только тем, как сделать счастливой свою сестричку, пока родственники не устроят их общую судьбу. Сестре он ни в чем не отказывал и страшно гордился тем, что спас ей жизнь. Даже больше, чем спасением из темницы отца Фрюктюё. Причин для беспокойств у него не было: твердо зная, что господин Костежу – верный *друг* и никогда его не оставит, Эмильен отдавал ему свои умственные способности, занимаясь счетоводством, и физическую силу, трудясь простым рабочим. Он даже пользовался некоторым авторитетом у приора, который при всем своем добродушии всегда ходил сердитый: кричать и чревоугодничать он из-за астмы больше не мог и поэтому сердился по каждому пустяку. Эмильен успокаивал его, подчас не без моей помощи, потому что наш милый приор прислушивался ко мне: с тех пор как я пообещала хозяйничать, ни в чем ему не прекословя, он сделался просто шелковый. Малышка Луиза окрепла и поздоровела, прежде-то она была такой хилой! Еду мы готовили хорошую, провизии на ветер не бросали, и Мариотта работала за двоих, а мои братья за четверых. Дюмон, все еще бодрый в свои преклонные лета, ходил за покупками в лавку и неплохо огородничал. Но, сказать по правде, у этого самого честного и бескорыстного человека на свете был один изъян: по воскресеньям он выпивал и к вечеру всегда приходил навеселе. Разумеется, тратил он деньги свои, а не чужие, и не буянил. Приор читал ему нотации, и каждый понедельник старик Дюмон божился, что больше не прикаснется к вину.

Но самой счастливой в нашей общине была я. Я облегчала жизнь дорогим моему сердцу людям, и мои полные забот дни, приливы душевных и телесных сил приносили мне такую радость, какой я еще никогда не знала. В шестнадцать лет я была довольно рослой, такой же, как сейчас, хотя лицом не вышла: после оспы у меня остались чуть заметные рябины. Но люди говорили, что лицо у меня приятное, располагающее к себе, а навещавший нас господин Костежу твердил, что никакие беды мне нипочем, потому что я всегда сумею найти друзей. Как я радовалась, когда он говорил это при Эмильене, который сразу же брал меня за руку, крепко сжимал ее, прибавляя:

– С ней всегда будет человек, для которого она сестра и подруга!

Он говорил правду, мы неизменно любили друг друга, словно одна мать произвела нас на свет. Дюмон часто рассказывал мне о моей матушке, жившей в услужении во Франквиле. Он хорошо ее знал, и, по его словам, она была точь-в-точь как я, привечала всех и каждого, пользовалась большим уважением. Я с удовольствием слушала его речи, и тогдашняя моя доля казалась мне такой завидной, что я не хотела и думать ни о каких переменах.

Только одно в ту пору меня заботило и даже тревожило: непонятный нрав малышки Луизы. Когда эта бедная девочка появилась у нас больная, в грязных лохмотьях, жалко было

глядеть на нее, и в то же время я испытала огромную радость при мысли, что смогу ее утешить и выходить. Эмильен подвел ко мне девочку и сказал:

– Вот тебе сестричка!

– Нет, – ответила я. – Она будет мне дочкой.

Я сказала эти слова от всего сердца, со слезами умиления на глазах, так что любой другой ребенок на месте Луизы бросился бы мне на шею, но она и бровью не повела. Окинув меня высокомерным и презрительным взглядом, она повернулась к брату и промолвила:

– Хороша сестричка, нечего сказать. Мужичка! Сам же ты говорил, что она моя сверстница, а хочет называться моей матерью. Вот она какая, эта знаменитая Нанетта, про которую ты мне все уши прожужжал. К тому же еще дурнушка! Не хочу, чтобы она меня целовала.

Вот и вся награда, которую я получила для начала. Эмильен ее выбрал, она расплакалась и, надув губы, забила в угол. Она была гордая девочка. Мне потом рассказали, как ей с младенчества внушали, что она должна постричься в монахини, как, заранее воспитывая в ней покорность монашеской судьбе, твердили, что хотя ей не причитается ни сантима из денег старшего брата, она слишком родовита, чтобы выйти замуж за простолюдина. А потому лишь в убожестве монастырской обители она не посрамит своего знатного имени. Луиза в это свято уверовала: ведь дети, если им поминутно твердить одно и то же, запоминают наставления взрослых навсегда. Мать никогда Луизу не ласкала и, так как ей скоро предстояло расстаться с дочерью навсегда, запретила себе любить девочку. Эта красивая аристократка с головой ушла в жизнь парижских великосветских салонов, заглушила в себе голос природы, а королевский двор заменил ей семью, жизнь и материнский долг. Она не любила даже своего старшего сына, ибо, предназначенный для блестящей карьеры, он принадлежал ей не больше, чем остальные дети. В ту пору, о которой я веду рассказ, госпожа де Франквиль проживала за границей, была очень больна и в скором времени умерла. О ее кончине нам сообщили не сразу, и только со временем я узнала то небольшое, что рассказала здесь о ней.

В имении Франквиль малышку Луизу опекала кормилица, а наставнику, воспитывавшему – или, вернее, не воспитывавшему – Эмильена, полагалось обучить ее только чтению и немного письму. Кормилица обещала вызубрить с ней молитвы и научить шитью, вязанью и стряпне. Большого монахине не требовалось, но кормилица сочла, что девочка обойдется и так. Эта красивая женщина нравилась многим мужчинам, на хозяйство у нее почти не оставалось времени. Луиза оказалась на попечении кухонных служанок, которые вовсе не обращали на нее внимания: когда господа снисходительно взирают на домашний беспорядок, прислуга распускается тоже. Пока Луиза бывала с Эмильеном, она резвилась и бегала как все дети, но стоило ей вернуться домой, она сразу же начинала разыгрывать принцессу, сердито бранила кормилицу, ссорилась, фыркала, высмеивала служанок, затем снисходительно фамильярничала с ними и все оттого, что хотела казаться барышней и хозяйкой дома. Расставшись с братом, который, как мог, урезонивал и успокаивал ее, она сделалась еще хуже и, видя, что никто ее не любит, возненавидела всех без исключения. Она была умна и говорила дерзости не по возрасту – это ей спускали, а следовало бы ее отчитать, чтобы она перестала тщеславиться своим злоязычием и дерзким нравом.

У сварливой старухи в Тюле ей пришлось так жестоко расплатиться за свои недостатки, что они лишь усугубились, и когда Луиза попала к нам, она напоминала разъяренную осу в пчелином улье. Уже в первый день я только и делала, что упрашивала ее умыться и надеть чистое белье. Но когда я принесла ей новую одежду, раздобытую в приходе точно таким же способом, как и платье Эмильена, Луиза затряслась от злости, закричав, что она, барышня и дочь маркизы, не наденет крестьянские обноски. Она предпочитала ходить в грязных лохмотьях, сшитых когда-то на городской манер, и брату пришлось сжечь их, чтобы Луиза нам покорила. Тогда она еще пуще разобиделась, хотя чистая полосатая юбка и чепчик необыкновенно красили ее. За обедом Луиза немного смягчилась: ведь она так давно не ела досыта.

Вечером она даже соблаговолила поиграть со мной, поставив, правда, условие, что я буду служанкой, а она, как госпожа, станет бить меня по щекам. На ночь я постелила ей в своей уютной келье мягкую чистую постель, и она спала рядом со мной. В монастыре сохранились большие запасы тонкого белья, и она этим прельстилась. Но на следующий день все началось сначала: одеваясь, она куксилась и заливалась слезами, и мне пришлось украсить цветами ей чепчик, сказав, что я просто перерядила ее в пастушку.

Однако, постепенно уразумев, что я нянчусь с ней не по обязанности, а от доброго отношения, она поняла свое положение и так переменялась, что стала неузнаваема. Позднее Луиза считала, что никогда не была так счастлива, как живя с нами, потому что мы ее любили, баловали и ласкали, ничего не требуя взамен, но сердце ее не знало нежности, и она спокойно рассталась бы с нами, если бы не боялась, что без нас ей будет много хуже. Чтобы умерить взыскательность Луизы, мы были вынуждены играть на ее тщеславии, которое уже начало переходить в женское кокетство. Быть обходительной и никого не обижать стоило ей больших усилий, но она никогда не хотела сделать и самую пустячную работу ради других или самой себя. Она одна в нашей общине требовала услуг. За господином приором мы ухаживали с охотой, потому что человек он был нетребовательный, и так как Луиза с самого начала обнаружила, что он у нас за главного, она немедленно заявила, что во всем ему равна. За общим столом – мы ели все вместе из соображений экономии – сидела не рядом с нами, а напротив приора, словно и впрямь была хозяйкой дома. Сперва мы над ней потешались, потом перестали обращать внимание, и она сидела на этом месте, будто оно по праву полагалось ей. Как-то раз с нами обедал господин Костежу, но Луиза ни за что не пожелала уступить ему это место, что весьма развеселило стряпчего, очень заинтересовавшегося этим маленьким чертенком. Он нашел ее хорошенькой, болтал с ней, дразнил аристократкой, как говаривали в ту пору, а потом стал баловать ее больше нас – уже на следующий день прислал ей из города нарядное платье с лентами, какие носили барышни, и шляпку с цветами. Приехав к нам в другой раз, он думал, что Луиза поблагодарит его или поцелует за подарок. Ничего подобного не произошло. Луиза рассердилась, что он прислал ей обыкновенные башмаки на плоской подошве, а она хотела туфли на высоких каблуках и с бантами. Господин Костежу еще пуще развеселился – ее аристократические замашки явно ему нравились. Чем больше он ненавидел аристократию, тем больше забавлялся, глядя, как эта неисправимая маленькая спесивица, которую он мог прихлопнуть, как букашку, помыкает им и третирует его. Все поначалу было шуткой, а обернулось судьбой для обоих.

А я, когда-то столько мечтавшая о малышке Луизе и всем своим существом преданная ей, я прекрасно знала, что когда эта девочка не нуждалась в моих услугах, она смотрела на меня как на пустое место, и если вдруг ласкалась ко мне, то наверняка хотела, чтобы я сделала для нее что-нибудь необычайно трудное. Исполнив ее прихоть, я не ждала от нее благодарности, – порою она сама забывала о своей мимолетной причуде.

Выражаясь на моем теперешнем языке, в те дни я испытывала разочарование. Однако я не отвернулась от Луизы, но всю свою нежность отдала Эмильену, который был вполне ее достоин. Мне казалось, что, ответив его сестра сердечно на мою дружбу, я бы любила ее больше, чем Эмильена, потому что Луиза была моей сверстницей и тоже девушкой, но она не хотела дружить со мной, и всем сердцем я поневоле прилепилась к братцу.

В октябре месяце этого года (1791) до нас докатились слухи о том, что война не за горами^[30], и все стали бояться за свое недавно приобретенное добро. Прошли те времена,

^[30] В октябре месяце этого года (1791) до нас докатились слухи о том, что война не за горами... – Революция во Франции вызвала тревогу феодально-абсолютистских правительств Европы. В августе 1791 г. австрийский государь Леопольд II (1747–1792) и прусский король Фридрих Вильгельм II (1786–1797), после встречи в резиденции саксонского короля в Пильнице (близ Дрездена), приняли декларацию о совместном военном выступлении в защиту Людовика XVI. В самой Франции в это время также усилились сторонники войны, взгляды которых диктовались разными причинами. Одни надеялись на поражение Франции и возврат к старому порядку (король, двор), другие полагали, что победа даст Франции рынки сбыта, источники

когда люди говорили: «А мне-то что! Не все идут на войну, не все кладут голову в сражении». Теперь каждый понимал, почему опять затевается война: французские аристократы и духовенство решили победить революцию, дабы отобрать назад все то, что революция успела нам дать. От этой мысли все приходили в неистовство и спешили вспахать свои поля и засеять их. Молодые люди говорили, что если враг вторгнется в их земли, они будут драться как черти. Все боялись за свое достояние и в то же время не робели перед неприятелем.

Господин Костежу все чаще навещался к нам, и Эмильен вновь стал интересоваться тем, что творилось вокруг. В один из ноябрьских дней ему сообщили, что мать его тяжело больна, и мысль о том, что он больше не увидит никого из своей родни, глубоко опечалила его – ведь он не сомневался, что они будут воевать с Францией, и если вернуться домой, то лишь вместе с ее врагами. Как-то раз, когда мы вдвоем возвращались с мельницы и ослица, навьюченная мешком зерна, шла перед нами, Эмильен сказал мне:

– Нанон, посмотри, в каком странном положении я оказался: я всегда говорил, что в случае объявления войны пойду в солдаты, но как же я могу взяться за оружие, если мне придется сражаться против отца и брата?

– Вам вовсе не надобно идти на войну, – сказала я ему, – вдруг вас убьют, что же будет с вашей сестренкой?

– Костежу обещал мне не оставить ее и взять к себе вместе с тобой, если ты, конечно, согласна. Обещай, что ты не бросишь Луизу.

– Луиза меня недолюбливает, да и жалко, конечно, покидать родное гнездо, но если это случится, можете рассчитывать на меня. Только вряд ли такое произойдет, потому что не пойдете же вы против воли вашего отца.

– Если будет война, мне придется или воевать, или бежать за границу. Ты ведь слыхала, что на эту войну возьмут всех молодых людей, годных к военной службе?

– Так-то оно так, но нельзя же всех подряд насильно туда тащить. Тогда на каждого рекрута понадобится по конному стражнику, а где взять столько жандармов? Вы говорите такое, наверно, потому, что сами хотите оставить меня и пойти в офицеры.

– Нет, дорогое мое дитя, я не помышляю о военной славе. Меня иначе воспитывали, и войну я не люблю. Я по природе человек мягкий, и мне не по душе убивать людей. Но если будет затронута моя честь, ты сама не захочешь, чтобы меня все презирали.

– Насчет меня будьте спокойны – я немало мучилась в ту пору, когда все говорили, что из вас ничего путного не получится. Кто знает, может, все сложится не так, как вы думаете. Только поклянитесь, что если вам не придется идти в солдаты, вы никогда не покинете нас.

– И ты еще об этом спрашиваешь? Ты же знаешь, как я тебя люблю.

– Правда, знаю. Вы мне обещали, что, когда женитесь, возьмете меня нянькой к своим детям.

– Женюсь? Неужели ты думаешь, что я собираюсь жениться?

– Как-то раз вы сказали мне, что когда-нибудь, наверно, подумаете о женитьбе. С той поры я изо всех сил старалась научиться тому, что должна уметь крестьянка, чтобы быть хорошей служанкой госпоже и в исправности содержать ее дом.

– А ты уверена, что я хочу видеть тебя служанкой при моей жене?

– Как? Вы больше не хотите?

– Разумеется, нет. Раз ты мой друг, я не могу считать, что ты ниже кого-то. Неужели ты не понимаешь?

Мы остановились у речки, Эмильен сжимал мою руку и не отводил от меня умиленных глаз. Я, признаться, удивилась его речам и тянула с ответом, боясь его обидеть.

– И все-таки, – подумав, сказала я, – ваша жена будет не чета мне.

– Почему ты знаешь?

– Не возьмете же вы в жены крестьянку, как брат Паскаль! Он женится на мельничихе с моста Больё, и священник уже объявил об их помолвке.

– А почему бы и нет?

– Впрочем, неважно, крестьянка она или из благородных: все равно вы будете любить ее больше всех и назовете хозяйкой дома; поэтому я и решила во всем ей угодить и служить верой и правдой. А теперь, выходит, вам не по душе, если я тоже буду любить ее и служить ей, как вы сами.

– Ах, Нанон, – промолвил Эмильен, продолжая наш путь, – простая ты, добрая душа! Оставим эти разговоры, ты еще мала, и тебе трудно понять мои мысли, так что мне не стоит их тебе верить, а тебе – понапрасну беспокоиться. Знай, что никогда я не огорчу тебя, и если и женюсь, то лишь с твоего согласия. Поняла? Ты знаешь, что я, как говорится, не бросаю слов на ветер, и все, что обещал, уже исполнил. Запомни хорошенько мои слова, запомни и эту речку, которая ласково журчит, словно и впрямь рада видеть нас на этом берегу, и эту старую иву – как серебрится ее листва, когда ветер колышет ветви! Обещай сбересть в памяти это местечко. Видишь островок, который как бы сплели ирисы из своих корней, – возле него мы с твоим двоюродным братом Пьером часто ставили верши. Как-то раз мы с тобой уже здесь останавливались – в тот самый день, когда ты попросила научить тебя тому немногому, что я знал. Я клятвенно обещал это сделать, а сегодня клянусь, что ни к одной женщине не прилеплюсь сердцем больше, чем к тебе. Может, тебя это огорчает?

– Вовсе нет, – ответила я ему, – дай бог, чтобы так оно все и было. Только речи ваши меня удивили – я ведь никогда не думала, что вы так же дорожите моей дружбой, как я вашей. И если это так, будьте уверены, что я никогда не выйду замуж и всю свою жизнь буду служить вам; беру в свидетели моей клятвы эту реку и эту старую иву, чтобы вы тоже крепче запомнили их.

Пока мы разговаривали, ослица ушла далеко вперед, и Эмильен, видя, что ей вздумалось идти более короткой дорогой через кусты и вдобавок сбросить наземь поклажу, бросился догонять ее. Я же осталась стоять на месте. Бежать за ним я не могла, потому что перед глазами у меня поплыли круги, а ноги налились свинцовой тяжестью. Почему он вдруг так красиво рассказал о своей дружбе, о которой прежде не заикался или говорил как-то вскользь и невзначай? Не скажу, что при всем моем целомудрии я не слыхала разговоров о любви. В деревне они ни для кого не тайна, но в северных краях, где жизнь скудна, а труд тяжел, люди взрослеют поздно – вот и я в свои юные годы была совсем неопытна. Возможно, привыкнув к мысли, что вся моя жизнь будет отдана на благо и в услужение другим, я не смела мечтать о собственном счастье, – во всяком случае, я как дурочка осталась стоять, ломая голову над тем, почему он сказал: «Ты еще не вошла в разум, чтобы понять мои мысли», – и вдруг меня охватило безотчетное желание громко смеяться и плакать.

Двигимая непонятным порывом, я сорвала несколько ивовых листочков и положила в нагрудный карманчик передника.

С того самого дня от счастья у меня кружилась голова, и я так радовалась, что живу на свете! Луизетта капризничала, но я, не огорчаясь, терпеливо и весело сносила ее причуды. Когда господин приор ворчал, я, как никогда прежде, умела успокоить его добрыми словами, а если он мучился приступом астмы, я всегда находила средство унять его страдания. Если я видела, что Эмильен устал от садовых работ, я бежала к нему и совсем по-мужски брала в руки грабли и становилась за тачку. К концу лета у нас поспели чудесные фрукты, и мы послали целую корзину их господину Костежу, которого они весьма обрадовали. Он приехал нас благодарить, и по всему было видно, как ему приятно провести денек в нашем обществе: он обедал с нами и обсуждал с приором тонкости латинской грамматики, с Луизеттой толковал о нарядах, а с Эмильеном и рабочими о севе или урожае. Я с удовольствием прислушивалась к этим раз-

говорам, даже к латыни господина приора, которая напоминала мне французский язык, или, вернее, особое наречие, понятное всем и каждому. Хозяйство лежало целиком на мне, и все в доме блестело и сверкало чистотой, а в вымытых стаканах и тарелках, казалось, отражаются люди еще более прекрасные, чем на самом деле. Эмильен снова начал по вечерам заниматься со мной, и эти уроки явились для меня лучшей наградой. Они проходили в присутствии господина приора, который любил высказывать свое мнение по каждому поводу, но скоро засыпал, и долгими зимними вечерами мы с Эмильеном сидели вдвоем в хорошо натопленной монастырской зале, читали, беседовали, а за окнами выл ветер, и у очага трещал сверчок.

Эти разговоры были полезны для нас обоих: я постоянно задавала множество вопросов, я узнавала от Эмильена то, что он, сам постепенно накапливая, теперь старался передать мне. Меня страшно занимал вопрос, какими правами располагают бедные и богатые, короли и подданные, а также волновали все события на суше и на море со дня сотворения мира. Эмильен рассказывал мне всякие истории былых времен. В монастырской библиотеке он нашел много-томное сочинение, которое монахи прятали от него; называлось оно «История человеческого рода»^[31]. По тем временам это была смелая книга, потому что в ней без утайки описывались людские несправедливости, но пока господин приор мирно похрапывал в большом кожаном кресле, мы проглотили ее том за томом и, сами того не подозревая, стали после ее прочтения гораздо образованнее приора, да и большинства наших современников. По каждому поводу в голове у нас возникала уйма мыслей, и знай мы, что творилось тогда в политической жизни, мы, конечно, смогли бы судить о революции совсем по-взрослому. Но про тогдашние дела рассказывал нам только господин Костежу, когда навещался в монастырь; однако зимой дороги у нас так плохи, что он перестал приезжать, и мы оказались отрезанными от мира. Жизнь в этой глуши избавляла нас от мучительных размышлений о том, что творится во Франции. Мы пребывали в неведении, что в других уголках нашего отечества люди бунтовали и терпели утеснения, и все потому, что никак не могли договориться относительно политики и религии.

Вот я и закончила первую часть моего жизнеописания, часть наиболее безмятежную, и в дальнейшем поведу рассказ о бурных событиях, увлекших нас вместе с остальными в свой круговорот. Тот, кто уже прочел мои записки, знает, что теперь я достаточно образованна, чтобы без особого труда выражать свои мысли и оценивать события, поразившие мое воображение. В предыдущих главах я никак не могла избавиться от некоторых крестьянских выражений и оборотов, потому что мысли поневоле облекались в слова, привычные для моей памяти, и воспользуюсь я другими словами, я бы приписала себе чувства и мысли, которых у меня тогда не было. Дальше я буду писать на языке, свойственном горожанам, буду пользоваться их понятиями и терминами – ведь с тысяча семьсот девяносто второго года я была крестьянкой только по платью да по работе.

X

У крестьянина душа как у ребенка: она легко поддается иллюзиям. Живя в нашем оазисе Валькрё, мы и представить себе не могли те подспудные причины, которые толкали нашу прекрасную революцию восемьдесят девятого года на столь страшные преступления. Доходившие до нас вести предвещали грядущие катастрофы, но мы были не более способны их себе представить, нежели предотвратить. Наше беспечное, полное неподдельного оптимизма монастырское сообщество видело в розовом свете любое уже свершившееся событие. Так, господин

^[31] «История человеческого рода». – Имеется в виду сочинение философа, историка Жана-Клода-Делиля де Сая (1741–1816) «История человечества, или Новая история всех народов земли», вышедшая в 1780–1781 гг. в 41 т.

приор утверждал, что напрасно король убежал в Варенн^[32] и что это большая ошибка, которая тем не менее приведет ко благу.

– Людовик Шестнадцатый^[33] испугался своего народа, – говорил он, – а бояться его не следует, потому, что народ от природы добр. Посмотрите, как все это произошло у нас! Распродали церковное имущество, а такого страшного злодеяния отродясь в мире не случалось. Все это устроили буржуазные вольнодумцы^[34], а народ только пожал то, что они посеяли, но к нам он отнесся без всякой злобы и даже уважительно, а этого уж никто не чаял. Если король доверится своему народу, ему незамедлительно вернут власть. Врагов у него нет – сами знаете, какое почтение испытывает к нему наш крестьянин. Будьте спокойны, все уладится. Конечно, народ беспечен, ленив, малость вороват, но я-то хорошо знаю, что он кроток душой и незлопамятен. Когда я был экономом в нашем монастырском братстве, помните, как круто я обходился с крестьянами? И ничего, никто не в обиде, и я спокойно доживу свои дни в монастыре, как и король на троне.

Рассуждения бедного монаха основывались на опыте, не выходявшем пока за пределы ущелья Валькрё, и мы, подобно приору, не желали переступить эту границу, тем более что развернувшиеся события поначалу доказывали, что приор был кругом прав.

Несмотря на бегство короля, Национальное собрание объявило его особу неприкосновенной^[35]. Потом оно окончило свою деятельность, ибо наивно полагало, что учрежденная им конституция – наивысшее завоевание революции и что отныне Законодательному собранию остается лишь проводить ее в жизнь^[36]. Ни один депутат Национального собрания первого созыва не имел права избираться второй раз^[37]. Господин Костежу выставил свою кандидатуру в депутаты, но в наших краях жители еще держали сторону короля и не пожелали поддержать адвоката. Он собрал много голосов и все-таки не прошел. Эта неудача не огорчила господина Костежу: он часто ездил в Париж, потому что именно он, а не кто другой хлопотал и отстаивал местные интересы в столице. Любую здешнюю просьбу или требование он рад был исполнить. Ученый, богатый, речистый, господин Костежу, казалось, был готов защитить интересы всех и каждого.

В конце тысяча семьсот девяносто первого года мы по некоторым причинам стали беспокоиться за безопасность господина приора. Новое Национальное собрание, намеревавшееся покончить с анархией, которую коммуна развязала в Париже, пришло в ярость из-за королевского вето^[38]. Во всех неурядицах депутаты обвиняли духовенство и старались запретить

[32] ...король убежал в Варенн... – 20 июня 1791 г. король с семьей бежал из Парижа по направлению к лотарингской границе. На пути он был опознан, задержан в городке Варенн и под охраной возвращен в Париж. Бегство короля возмутило страну, породило республиканские настроения, что не устраивало стоявшую тогда у власти буржуазию, сторонницу конституционной монархии. Возник острый политический кризис, получивший название Вареннского, который завершился кровавыми событиями 17 июля 1791 г. (расстрел на Марсовом поле) и переходом крупной буржуазии в лагерь контрреволюции.

[33] Людовик Шестнадцатый – король Франции (1774–1792); казнен 21 января 1793 г.

[34] Все это устроили буржуазные вольнодумцы... – Приор так называет передовых людей третьего сословия, французских просветителей – Вольтера, Монтескье, Дидро, Руссо и других. По выражению Ф. Энгельса, они произвели революцию в головах у людей, прежде чем последние преобразовали материальные силы общества.

[35] Несмотря на бегство короля, Национальное собрание объявило его особу неприкосновенной. – Боясь роста демократического движения, Национальное учредительное собрание сразу же после неудавшегося бегства короля и возвращения его в Париж, 23 июня 1791 г., приняло постановление, которым объявило изменниками тех, кто способствовал «похищению» короля, и приказало «арестовывать всех тех, кто осмелится покушаться на подобающее королю уважение». Вскоре король был полностью реабилитирован и восстановлен во всех своих правах.

[36] ...учрежденная им конституция... отныне Законодательному собранию останется лишь проводить ее в жизнь. – Имеется в виду конституция 1791 г., по которой высшим законодательным органом Франции был избираемый на два года однопалатный парламент – Законодательное собрание (существовало с 1 октября 1791 г. по сентябрь 1792 г.).

[37] Ни один депутат Национального собрания... не имел права избираться второй раз. – Незадолго до выборов (на основе конституции 1791 г.) в новый законодательный орган страны – Законодательное собрание – Учредительное собрание приняло постановление, запрещающее своим членам участвовать в предстоящих выборах.

[38] Новое Национальное собрание, намеревавшееся покончить с анархией, которую коммуна развязала в Париже, пришло

устроить богослужение даже в частных домах. Король этому все еще противился, и мы в Валькрё, разумеется, были все его сторонниками, ибо не желали отказываться от церковной службы и любили нашего господина приора; это не мешало нам стоять за революцию, поскольку мы во что бы то ни стало хотели сохранить права, дарованные нам конституцией. Если бы восторжествовало мнение большинства французов, революция на этом бы и остановилась. Но мы жили под угрозой двух нападений: ненависти аристократов и духовенства к революции и ненависти революционеров к аристократии и духовенству. Теперь личные пристрастия стали главенствовать над политическими убеждениями. Под натиском этих грозных сил наша несчастная крестьянская Франция оказалась на волосок от гибели, не понимая притом, что все это значит и за кого же, в конце концов, она стоит.

В первых числах августа тысяча семьсот девяносто второго года господин Костежу приехал к нам из Парижа. Оставшись с Эмильеном с глазу на глаз, он сказал:

– Сын мой, не знаете ли вы, принес ли господин приор присягу конституции?^[39]

– Наверяд ли, – ответил Эмильен, который не умел лгать и в то же время боялся сказать правду.

– Так вот, если он не присягал, – продолжал стряпчий, – постарайтесь, чтобы это произошло возможно скорее. Сейчас положение духовных лиц весьма опасное. Больше ничего я не могу вам сказать, но, поверьте, у меня есть основания для тревоги. Вы же знаете, что судьба приора мне не безразлична.

Эмильен уже много раз пытался убедить приора принести присягу, но тот не сдавался. Тогда он сказал мне об этом деле и поручил его уладить. Это была нелегкая задача. Поначалу приор чуть не прибил меня.

– Неужели всю жизнь суждены мне эти мучения? – сетовал он. – Монахи упрятали меня в узилище, когда я не пожелал дать клятву, что возведу о чудесах, будто бы совершенных Пресвятой Девой у источника, дабы крестьяне побоялись зариться на наше имущество. А теперь меня заставляют божиться, что я честный человек и люблю свою страну. Я не заслужил такого унижения и не желаю подвергаться ему.

– Вы были бы правы, – сказала я, – если бы правительство поступало благоразумно, а люди были бы справедливы. Но постоянные беды сделали их подозрительными. Если вы навлечете на себя их суровый приговор, ваши друзья, живущие рядом с вами, пострадают, быть может, не меньше вас. Подумайте хотя бы о двух несчастных детях, нашедших здесь приют. Их родители убежали за границу, им и без того грозит опасность. Если вы вправду любите Эмильена, не отягчайте их и без того горькую участь, рискуя собственной головой.

– Пожалуй, ты права, я сдаюсь, – сказал приор.

И он действительно поступил так, как я советовала. Я хорошо знала, что если завести речь о близких ему людях, то ради них он откажется от своих убеждений.

в ярость из-за королевского вето. – Законодательное собрание в связи с военными неудачами и активизацией контрреволюционных сил, под давлением народа, в начале лета 1792 г. приняло три декрета: 27 мая 1792 г. – о роспуске королевской гвардии, представлявшей опасность для революции, и о высылке из страны священников, которые откажутся присягнуть конституции, и 18 июня 1792 г. – о создании под Парижем вооруженного лагеря добровольцев (федератов). Людовик XVI, уверенный в скорой победе интервентов, на последние два декрета наложил вето, что вызвало негодование народа и привело к многотысячной демонстрации 20 июня 1792 г. По-видимому, именно это событие имеет в виду Жорж Санд, говоря об «анархии». Однако демонстрация 20 июня была организована жирондистами, а не органом городского самоуправления столицы, то есть Парижской коммуной, возникшей в начале революции (после взятия Бастилии) и находившейся в руках умеренных монархистов-конституционалистов. Только в ночь на 10 августа 1792 г. был смещен прежний муниципалитет и организовалась повстанческая, революционная коммуна, которая сыграла крупную роль в падении монархии и в обороне Парижа.

^[39] ...принес ли господин приор присягу конституции? – В соответствии с декретом Законодательного собрания от 27 мая 1792 г., в случае отказа присягнуть конституции будет «как мера общественного спокойствия и безопасности применена высылка неприсягнувших священников».

Теперь нам казалось, что все тревоги уже миновали, однако в августе месяце в Париже произошли ужасные события, и в сентябре мы узнали подробности^[40] о бесчинствах коммуны, о заключении короля в Тампль, об издании декрета о конфискации имущества эмигрантов, а также о том, что все духовные лица, не присягнувшие конституции, осуждены на изгнание, о повальных обысках, во время которых отбирали оружие и арестовывали неблагонадежных, и так далее.

Нас, крестьян, эти ужасы не затрагивали, и бояться нам было нечего. Наша революция закончилась в тысяча семьсот восемьдесят девятом году^[41]. Мы забрали все монастырское оружие, а немного погодя инакомыслящие монахи сами разбрелись кто куда. Что до Эмильена, то он прекрасно знал – имущество его семьи конфискуют, и ему придется расплачиваться за предательство родителей. Он вел себя как человек, который никогда и никому не должен был наследовать. Но очень мы сокрушались из-за короля и ни за что не верили, что он сговорился с эмигрантами, которых так осуждал. Кроме того, мы горевали и чувствовали себя униженными оттого, что враг нас одолел. Когда нам рассказали о резне в тюрьмах^[42], мы поняли, что нашему скромному счастью скоро придет конец. Читать и беседовать с Эмильеном стало недосуг: все наше время мы посвящали сельскому и домашнему хозяйству – так бывает с людьми, которые хотят отвлечься от тягостных раздумий и заглушить упреки совести.

Возможно, последующее рассуждение мое покажется странным, тем не менее в этих записках я придаю ему большое значение.

Если молодые и чистые души свято поверили в справедливость, в дружбу и честь, если будущее представлялось им поприщем для свершения их добрых намерений и если внезапно они обнаруживали, что люди исполнены ненависти, что они несправедливы, а зачастую – увь! – вероломны, тогда эти младенческие души переживают потрясение, приносящее им тяжкие увечья. Они начинают размышлять, не совершен ли ими какой-то проступок, за который люди карают их так жестоко.

Теперь мы задавали господину приору гораздо больше вопросов, чем раньше, когда почитали себя всезнайками, проникшись без его помощи идеями, которые казались нам куда более совершенными, чем его. Но мы уже не смели важничать, так как боялись, что запутались в своих теориях. Приор же, несмотря на свой будничный вид и весьма прозаические занятия, оказался большим философом, чем мы предполагали.

В один из вечеров девяносто третьего года мы завели с ним разговор о том, что он думает о якобинцах^[43] и об их стремлении любой ценой продолжать революцию. И приор нам сказал следующее:

– Дети мои, эти люди катятся по наклонной плоскости, и им уже не остановить своего падения. Но дело не в них, а в обстоятельствах, которые могущественнее человеческих устрем-

^[40] ...в августе месяце в Париже произошли ужасные события, и в сентябре мы узнали подробности... – Напоминается о таких событиях революции, как восстание 10 августа 1792 г., приведшее к падению монархии, аресту короля и его семьи, а также о последующей борьбе между Законодательным собранием, представлявшим уходящий конституционно-монархический режим, и повстанческой Парижской коммуной, ставшей после свержения монархии реальной силой.

^[41] Наша революция закончилась в 1789 году. – Это замечание противоречит историческим фактам. Аграрный вопрос, который прежде всего интересовал и затрагивал крестьянство, не был еще разрешен в 1789 г. Окончательная отмена феодальных повинностей произошла во время якобинской диктатуры (декрет от 17 июля 1793 г.), и только тогда крестьяне могли считать, что их революция завершилась.

^[42] ...рассказали о резне в тюрьмах... – Речь идет о массовых казнях в Париже 2–5 сентября 1792 г., которые были результатом стихийного возмущения народа, стремившегося укрепить тыл, прежде чем обратиться против вторгнувшихся в страну интервентов. Парижская коммуна не одобряла этого самосуда, направляла в тюрьмы своих представителей, которые спасли многих заключенных. Несмотря на отрицательное отношение, коммуна в специальном воззвании признала справедливость гнева народа, обоснованно опасавшегося выступления врагов революции.

^[43] Якобинцы – члены клуба, получившие (как и клуб) название от монастыря якобитов, где они собирались (официально клуб именовался Обществом друзей Конституции). В 1789 г. клуб объединял сторонников конституционной монархии различных направлений, но по мере развития революции от него откалывались более умеренные элементы, а после исключения жирондистов этот клуб стал руководящей организацией в период якобинской диктатуры – высшего подъема революции.

лений. Старая жизнь уходит, я давно это заметил, хотя по воле судьбы слежу за событиями из этой норы, где живу, как жалкая мокрица, забившаяся под замшелые камни. Не думайте, что это революция привела к гибели церковь. Она лишь развалила то, что насквозь прогнило и изжило себя. Вера угасла уже давно, церковь овладели мирские интересы, и у нее нет больше прав на существование. Взять хотя бы меня: я верю далеко не всем ее поучениям, многое пропускаю мимо ушей. Я ведь столько раз был свидетелем того, как грубо высмеивались в монастырских стенах церковные заповеди и запреты. Во времена моей молодости стены нашей подземной молельни были украшены старинными фресками, изображавшими танец смерти; тогдашний приор почел их за мерзостные и смехотворные и велел замазать краской. Таким же образом были искоренены все верования, наводившие страх на душу, а вместе с ними и строгости церковного устава, и в нас вызревал все тот же революционный дух протеста. Прелаты и старшие чины богатых аббатств предавались за наш счет всевозможным увеселениям, модным в ту пору, купались в роскоши и даже развратничали. Мы не желали быть простаками и отставать от них, но поскольку скромность нашего положения не позволяла нам безнаказанно пускаться во все тяжкие, мы довольствовались сытной жизнью и замкнулись в равнодушии ко всему на свете: ведь быть равнодушными нам не возбранялось. Думаю, так жили не мы одни. Трое наших монахов, которые ушли последними, были вовсе не те, за кого вы их принимали. Когда они стращали меня за мое прямоту и даже упрятали в темницу, ими двигал отнюдь не фанатизм. Они ни во что не верили и, желая нагнуть на меня страху, сами всего боялись больше, чем я. Был среди них один распутник, который с большой охотой сложил с себя монашеское звание; другой, форменный болван, в Бога не веровал, но, читая архиепископское послание, страшился адского пламени; третий, бледнолицый и мрачный Памфил, был честолюбец, который жаждал быть на виду – вероятно, он станет демократом, ибо не сумел отличиться особым рвением на монашеском поприще. А знаете, отчего духовенство измельчало и зачахло? Оттого, что оно смертельно устало от своего фанатизма, а подобная усталость неотвратимо влечет за собой кару, и эта кара – бессилие. Люди, которые устроили Варфоломеевскую ночь и отменили Нантский эдикт^[44]

^[44] *Нантский эдикт* (1598) завершил религиозные войны между католиками и гугенотами и предоставил последним свободу вероисповедания, богослужения и другие права. Король Людовик XIV (1643–1715) в 1685 г. отменил Нантский эдикт и тем самым покончил с веротерпимостью во Франции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания